

**ГАБРИЭЛЕ
Д'АННУНЦИО**

ТОРЖЕСТВО
СМЕРТИ

Габриэле д'Аннунцио
Торжество смерти

«Public Domain»

1884

д'Аннунцио Г.

Торжество смерти / Г. д'Аннунцио — «Public Domain», 1884

«Увидя группу людей, перегнувшихся через парапет и глядевших на пролегавшую внизу улицу, Ипполита остановилась и воскликнула:— Там что-то случилось! Она слегка вздохнула от испуга и невольно положила свою руку на руку Джорджио, точно хотела удержать его...»

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| I. Прошлое | 5 |
| II. Родной дом | 30 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 42 |

Габриэле д'Аннунцио

Торжество смерти

I. Прошлое

Есть книги, которые для души и здоровья имеют обратное значение, смотря по тому, пользуется ли ими низкая душа, низменная жизненная сила или же возвышенная душа, мощная воля, – в первом случае они являются опасными, разрушающими, разъядающими книгами, во втором же – кликами герольдов, вызывающими храбрейших для проявления своей храбрости.

Фр. Ницше

(По ту сторону добра и зла. Аф. XXX)

1

Увидя группу людей, перегнувшихся через парапет и глядевших на пролежавшую внизу улицу, Ипполита остановилась и воскликнула:

– Там что-то случилось!

Она слегка вздохнула от испуга и невольно положила свою руку на руку Джорджио, точно хотела удержать его.

Джорджио сказал, приглядываясь к жестам группы людей:

– Кто-то, по-видимому, бросился вниз. И добавил:

– Хочешь, вернемся назад?

Она секунду колебалась. В ней боролись страх и любопытство.

– Нет, пойдём дальше, – ответила она.

Они продолжали путь по крайней аллее, вдоль парапета. Ипполита невольно ускоряла шаги в сторону группы любопытных.

В послеобеденное время в мартовский день Пинчио был почти пуст. Редкий шум замирал в тяжелом, сыром воздухе.

– Так и есть, – сказал Джорджио. – Кто-то лишил себя жизни.

Они остановились неподалеку от группы. Все эти люди пристально глядели вниз на тротуар. Это были все бедняки, без работы. На лицах их не отражалось ни сострадания, ни печали, и неподвижный взгляд придавал их глазам выражение животного отупения.

Какой-то долговязый юноша быстро подошел к группе, желая тоже поглядеть.

– Его уже нет, – ответил ему кто-то, прежде чем он успел наклониться над парапетом, и в голосе этого человека звучало смешанное чувство презрения и радостного торжества, точно ему доставляло удовольствие, что другие не могут более наслаждаться зрелищем. – Его уже нет, его унесли.

– Куда?

– В Санта Мария дель Пополо.

– Он умер?

Другой человек, худой и бледный, с широким шерстяным шарфом на шее, сильно перегнулся вперед и, вынимая трубку изо рта, громко спросил:

– Что там осталось от него?

Рот его был перекошен и оттянут в одну сторону, точно от ожога, и его передергивало, как будто он постоянно глотал вновь накапливающуюся горькую слюну. Он говорил глухим, беззвучным голосом.

– Что там осталось от него?

Внизу на улице стоял, наклонившись у основания стены, какой-то разносчик. Публика затихла и неподвижно ожидала ответа. Внизу на камнях виднелось только черное пятно.

– Кровь, – ответил разносчик, продолжая стоять нагнувшись и роясь в пятне концом палки.

– А еще что? – спросил человек с трубкой. Разносчик выпрямился и поднял на кончике палки что-то, чего сверху нельзя было разглядеть.

– Волосы.

– Какого цвета?

– Светлого.

В запертом между двумя высокими стенами пространстве голоса звучали как-то странно.

– Джиорджио, пойдем! – попросила Ипполита взволнованным голосом, немного побледнев и оттягивая спутника, привлеченного отвратительной сценой и наклонившегося над парапетом вблизи группы людей.

Они молча отошли от трагического места. Болезненная мысль об этой смерти не покидала их и отражалась на их лицах.

Он сказал:

– Блаженны мертвые, потому что у них больше нет сомнений.

– Это правда, – ответила она.

Их слова звучали устало из-за тяжелого нравственного состояния. Она добавила, опустив голову, со смешанным чувством горечи и сожаления:

– Бедная любовь!

– Какая любовь? – рассеянно спросил Джиорджио.

– Наша.

– Ты, значит, чувствуешь, что ей приходит конец?

– Не с моей стороны.

– Так, может быть, с моей?

Плохо сдерживаемое раздражение делало его голос резким. Он повторил, глядя на нее:

– С моей стороны? Отвечай.

– Ты не отвечаешь? Ах, ты хорошо знаешь, что сказала бы неправду.

Она молчала и еще ниже опустила голову. Несколько минут оба с невыразимой тревогой старались читать в своей душе; затем он продолжал:

– Так начинается агония... Ты еще не замечаешь этого; я же со времени твоего возвращения постоянно наблюдаю за тобой и каждый день открываю в тебе новый признак...

– Какой признак?

– Дурной, Ипполита... Это ужасно – любить и постоянно сознавать это!

Женщина почти резко тряхнула головой и нахмурилась. Как уже часто случалось и прежде, они почувствовали враждебность друг к другу. Каждого оскорбляло несправедливое подозрение другого, и внутреннее возмущение переходило в глухое раздражение, выразившееся в оскорбительных и непоправимых словах, тяжелых обвинениях и резких ответах. Их охватывало непреодолимое стремление мучить, колоть и терзать друг другу сердце.

Ипполита нахмурилась и замолчала, сдвинув брови и сжав губы, а Джиорджио с вызывающей улыбкой глядел на нее.

– Да, так начинается, – говорил он, продолжая ядовито улыбаться и пристально глядя на нее. – В глубине души ты чувствуешь беспокойство, какое-то смутное нетерпение, подавить которое ты не можешь. Когда ты находишься вблизи меня, ты чувствуешь, как в глубине твоей

души поднимается что-то против меня – почти инстинктивное отвращение; тебе стоит невероятных усилий сказать мне слово, и ты плохо понимаешь, что я говорю тебе, и невольно даже в пустяшном ответе твой голос становится резким.

Она не прерывала его ни малейшим движением. Ее молчание оскорбляло его, и он продолжал говорить, побуждаемый не только низменным желанием мучить свою подругу, но и какой-то склонностью все анализировать, склонностью, ставшей более острой и утонченной благодаря его разностороннему образованию. Он старался придать своим словам определенность и ясность, взятые из книг психологов; но, как в монологах его ум искажал внутреннее состояние, над которым работал, так и в диалогах желание глубже анализировать часто заглушало искренность его чувства и вводило его в заблуждение по поводу душевного состояния другого человека, которое он хотел исследовать. Его мозг, заваленный массой психологических наблюдений, приобретенных лично и от других психологов, часто смешивал и ошибался, анализируя душевное состояние его самого и других; поэтому его умозаключения нередко являлись искусственными и неверными.

– Не думай, что я упрекаю тебя, – продолжал он. – Ты не виновата. Каждая человеческая душа содержит в себе некоторое количество чувствительности для израсходования на любовь. Это количество, естественно, тратится с течением времени, как все остальное. Когда оно исчерпано, никакие усилия не могут помешать прекращению любви. А ты уже давно любишь меня – уже почти два года. Второго апреля настанет вторая годовщина. Подумала ли ты об этом?

Она покачала головой. Он повторил, точно говорил сам с собою:

– Два года!

Они направились к скамейке и сели. Ипполита казалась сильно уставшей и даже разбитой. Тяжелая черная карета проехала по аллее, скрипя колесами по песку; из улицы Фламиния донеслись до них слабые звуки рожка, затем наступила тишина и закапал редкий дождь.

– Эта вторая годовщина будет печальной, – беспощадно продолжал Джорджио. – Тем не менее, необходимо отпраздновать ее. Я люблю все горькое.

Страдания Ипполиты вылились в неожиданной улыбке.

– К чему все эти гадкие слова? – сказала она с необычайной мягкостью и взглянула Джорджио в глаза долгим и глубоким взглядом. Оба снова с невыразимой тревогой старались анализировать свое душевное состояние. Ипполита прекрасно понимала, от какой ужасной болезни страдает ее друг и какова скрытая причина его резкости.

– Что с тобой? – добавила она, желая вызвать его на разговор и облегчить его страдания. Ее мягкий голос смутил Джорджио. Он не ожидал этого. Видя по ее тону, что она понимает и жалеет его, он почувствовал сострадание к себе, и глубокое волнение заставило его сразу перемениться.

– Что с тобой? – повторила Ипполита, дотрагиваясь до его руки и желая таким образом увеличить силу своего влияния на него.

– Что со мной? – ответил он. – Я люблю.

Его слова потеряли всякую язвительность. Обнажая свою неисцелимую рану, он чувствовал к себе жалость. Смутное неприязненное чувство, возникшее в его душе по отношению к женщине, казалось, рассеялось. Он сознавал, что несправедливо обижать ее, подчиняясь роковой необходимости. В его несчастье было виновато не человеческое существо, а самая сущность жизни. Он должен был винить не возлюбленную, а любовь, к которой по натуре все его существо стремилось с непобедимой силой; любовь была наивысшей из всех земных горестей, и он был связан с нею, может быть, до самой смерти.

Он молчал в раздумье, и Ипполита спросила его:

– Ты, значит, думаешь, что я не люблю тебя, Джорджио?

– Да, видишь ли, я думаю, что ты любишь меня, – ответил он. – Но можешь ли ты доказать мне, что завтра, через месяц, через год, одним словом, всегда ты будешь одинаково счастлива

принадлежать мне? Можешь ли ты доказать мне, что ты моя целиком в этот момент? Что в тебе принадлежит мне?

– Все.

– Ничего или почти ничего. Мне не принадлежит то, что я хотел бы иметь. Я не знаю тебя. Как всякое человеческое существо, ты заключаешь в себе целый мир, непроницаемый для меня, и самая пылкая страсть не поможет мне проникнуть в него. Я знаю только маленькую долю твоих ощущений, мыслей и чувств. Слова служат несовершенным выражением внутреннего мира человека. Души невозможно передать, и ты не можешь дать мне свою душу. Даже в высшем опьянении чувств мы не сливаемся в одно, а остаемся всегда двумя отдельными, чужими существами, внутренне одинокими. Я целую тебя в лоб, а под ним, может быть, работает мысль, которая не принадлежит мне. Я говорю с тобой, и, может быть, какая-нибудь моя фраза возбуждает в твоём уме воспоминание из других времен, до начала моей любви. Какой-нибудь человек проходит и глядит на тебя, и в твоём уме происходит работа, которой я не могу заметить. Я не знаю также, сколько раз отражение твоей прежней жизни освещает настоящий момент... О, какой у меня безумный страх перед твоей прежней жизнью! Иногда, когда я нахожусь вблизи тебя, я целиком отдаюсь очарованию, ласкаю тебя, слушаю, говорю и отдаюсь тебе. И вдруг я леденею от одной мысли. Что, если я невольно возбуждаю в тебе воспоминания, призраки уже испытанных ощущений, печаль давно минувших дней? Я не могу выразить своих страданий. Возбуждение, дававшее мне иллюзию какого-то единения между нами, внезапно проходит. Ты удаляешься и ускользаешь от меня, становишься недоступной. Я остаюсь в ужасном одиночестве. Десяти, двадцати месяцев близких отношений как будто не существовало; ты являешься для меня чужой, как прежде, когда не любила меня. И я больше не ласкаю тебя, не говорю и ухожу в себя; я избегаю всякого внешнего проявления чувства и боюсь, чтобы малейший толчок не всколыхнул в глубине твоей души накопившихся в ней в безвозвратные прошлые времена горьких осадков. И тогда наступает долгое тягостное молчание, и наши духовные силы расходуются бесполезно и безжалостно. Я спрашиваю тебя: «О чем ты думаешь?» Ты отвечаешь мне: «О чем ты думаешь?» Я не знаю твоих мыслей, как ты не знаешь моих. Расщелина делается все глубже и переходит в пропасть. Глядеть в эту пропасть так страшно, что побуждаемый каким-то слепым инстинктом я бросаюсь на твое тело, сжимаю и душу тебя, горя нетерпением обладать тобой. Высшего наслаждения я не знаю, но какое наслаждение вознаградит за наступающее после него горькое чувство?

– Я не испытываю этого, – ответила Ипполита. – Я сильнее отдаюсь чувству, может быть, моя любовь сильнее.

Признание ею своего превосходства снова укололо больного.

– Ты слишком много думаешь и следишь за своими мыслями, – сказала Ипполита. – Они, может быть, привлекают тебя больше, чем я, потому что являются всегда новыми и разнообразными, тогда как я уже потеряла прелесть новизны. В первое время твоей любви ты был менее задумчив и более оживлен. Ты не успел еще полюбить все горькое, так как расточал больше поцелуев, чем слов. Раз ты сам говоришь, что речь не служит совершенным выражением мыслей, то не следует злоупотреблять ею, а ты злоупотребляешь, и даже жестоко.

Ей нравилась одна фраза; она не могла удержаться от желания произнести ее и добавила после минутного молчания:

– Анатомия предполагает существование трупа.

Но Ипполита раскаялась, как только произнесла эту фразу – она показалась ей грубой, неженственной и резкой. Ей стало жаль, что она не сохранила мягкого, снисходительного тона, только что смутившего Джорджио. Она еще раз отступила от своего намерения быть для друга терпеливой и нежной целительницей.

– Видишь, ты портишь меня, – сказала она с сожалением в голосе.

Он еле улыбнулся. Оба понимали, что в этом споре они только оскорбляли любовь.

«Любит ли она меня еще? – думал Джорджио. – И почему она так раздражительна? Может быть, она чувствует, что я говорю правду или то, что скоро станет правдой. Раздражительность – дурной признак. Но ведь и в глубине моей души тоже кроется эта глухая и постоянная раздражительность. Я знаю ее настоящую причину: я ревную Ипполиту. Но к чему? Ко всему, даже к тому, что отражается в ее глазах...»

Он взглянул на нее. «Она прекрасна сегодня. Она бледна. Я хотел бы видеть ее всегда печальной и больной. Когда она поправляется, то кажется мне другой женщиной. Когда же она смеется, я не могу отделаться от смутного враждебного чувства, чуть ли не злобы по отношению к ее смеху. Впрочем, не всегда».

Его мысли путались и на секунду остановились на аналогии между вечерней зарей и наслаждавшейся ею Ипполитой. Под бледной кожей ее лица разливалась легкая фиолетовая краска; на шее ее была подвязана нежная желтая ленточка, оставлявшая открытыми две черные родинки. «Как она прекрасна! Выражение ее лица почти всегда глубоко, вдумчиво и страстно. В этом и заключается секрет ее очарования. Ее красота никогда не надоедает мне и всегда заставляет меня мечтать. Из чего состоит ее красота? Я не могу объяснить себе этого. Физически Ипполита некрасива. Глядя на нее иногда, я испытываю глубокое разочарование. Черты ее лица являются тогда в моих глазах такими, как они есть в действительности, неизменными и освещенными духовным выражением. Впрочем, у нее есть три божественных элемента красоты: лоб, глаза и рот».

Мучения, испытанные им за два года при мысли о жизни его любовницы среди незнакомых ему людей в те часы, которые она не могла проводить с ним, давили в этот момент его сердце. Что она делает? С кем видится? С кем говорит? Как она держит себя со знакомыми, среди которых живет? Но на эти вечные вопросы не было ответа.

«Каждый из этих людей отнимает у нее что-то, – думал страдалец, – и отнимает что-то и у меня. Я никогда не узнаю, каково было влияние этих людей на нее и какие мысли и чувства они возбуждали в ней. Она красива и очаровательна; этот род красоты волнует мужчин и возбуждает в них желание. Она возбуждала желание среди этой ужасной толпы, а оно проявляется у мужчин во взгляде; взгляд свободен, и женщина предоставлена ему. Что испытывает женщина, замечая, что она возбуждает желание? Она несомненно волнуется и испытывает какое-нибудь чувство, хотя бы отвращения, хотя бы неприязни. Итак, какой-то чужой человек может взволновать женщину, которая любит меня. Что же после этого остается на мою долю?»

Он сильно страдал, потому что его рассуждения освещались физическими образами.

«Я люблю Ипполиту любовью, которую считал бы вечной, если бы не знал, что каждая человеческая любовь приходит к концу. Я люблю ее и не могу представить себе высшего наслаждения, чем то, которое она дает мне. Тем не менее сколько раз при виде других женщин меня охватывало внезапное желание, и глаза женщины, виденные где-нибудь мимоходом, оставляли в моей душе мутный осадок печали. Сколько раз я думал при виде женщины, встреченной где-нибудь на улице или в гостиной, или о любовнице друга: какова ее манера любить? В чем состоит ее секрет любви? И в течение некоторого времени эта женщина волновала мое воображение без особенной интенсивности, но с медленным упорством и с некоторыми промежутками. Некоторые из этих образов даже внезапно вставали в моем уме, когда я ласкал Ипполиту. А почему бы у нее не могло явиться такое же желание при виде мужчины? Если бы у меня был дар ясновидения и я мог заглянуть ей в душу и обнаружить в ней подобное желание, хотя бы мимолетное, как молния, я несомненно счел бы свою любовницу навсегда запятнанной и думал бы, что умру от огорчения. Я никогда не получу этого материального доказательства, так как по воле природы душа моей любовницы невидима и неосвязаема, несмотря на то что она подвержена внешнему влиянию гораздо больше, чем тело. Но аналогия освещает ее душевное состояние; не может быть сомнений относительно возможности появления в ней

подобных чувств. Может быть, в этот самый момент она видит на своей душе недавнее пятно, и оно разрастается под ее взглядом».

Он сильно вздрогнул от боли. Ипполита спросила его мягким голосом:

– Что с тобой? О чем ты думал? Он ответил:

– О тебе.

– Как?

– Дурно.

Ипполита вздохнула и спросила: Хочешь – пойдем?

– Пойдем, – ответил он.

Они встали и направили шаги по той дороге, по которой пришли. Ипполита сказала тихо и со слезами в голосе:

– Какой печальный вечер, мой друг!

Она приостановилась, точно хотела вдохнуть в себя печальную атмосферу умирающего дня. Все было тихо кругом. Пинчио был совершенно пуст и окутан фиолетовой дымкой, в которой колокольни и статуи белели, как привидения. На город внизу спускался туман. Падали редкие капли дождя.

– Куда ты пойдешь сегодня вечером? – спросила она. – Что Ты будешь делать?

Он ответил в унынии:

– Я не знаю, что буду делать.

Мучаясь, будучи вместе, они с ужасом думали о хорошо известных им еще более тяжелых страданиях, вскоре ожидавших их. Оба знали, как воображение будет ночью терзать их незащищенные души.

– Если хочешь, я приду к тебе сегодня ночью, – робко сказала Ипполита.

Глухое раздражение терзало душу Джорджио, и побуждаемый непобедимым желанием мстить и быть злым, он ответил:

– Нет.

Но сердце говорило ему иное: «Ты не сможешь оставаться вдали от нее сегодня ночью, не сможешь, не сможешь», и, ясно сознавая невозможность этого, несмотря на слепое враждебное подзадоривание, он как бы вздрогнул внутренне, точно гордость его умирала, побежденная охватившей его сильной страстью. Он повторил про себя: «Я не смогу оставаться вдали от нее сегодня ночью, я не смогу этого», чувствуя, что какая-то посторонняя сила побеждает его. Жуткое ожидание чего-то трагического зародилось в его душе.

– Джорджио! – испуганно воскликнула Ипполита, сжимая его руку.

Джорджио вздрогнул. Он узнал место, где они останавливались поглядеть на пятно крови, оставленное самоубийцей внизу на тротуаре, и спросил:

– Ты боишься?

Она ответила, продолжая сжимать его руку:

– Немного.

Он отделился от нее и, подойдя к парапету, наклонился над ним. Мрак уже окутывал улицу внизу, но ему казалось, что он видит все-таки черноватое пятно, так как представление о нем ясно сохранилось в его памяти. Под влиянием впечатлений этого вечера призрак мертвого тела смутно встал в его уме: неясные очертания молодого тела с белокурой окровавленной головой. «Кто он? Почему он лишил себя жизни?» Он увидел себя самого мертвым в таком же положении. Несколько бессвязных мыслей быстро прорезали его ум. Он увидел, точно освещенного светом молнии, своего бедного дядю Димитрия, младшего брата отца, кровного родственника, – самоубийцу: лицо под черным покровом на белой подушке, длинная, бледная мужественная рука, на стене подвешенная на трех цепочках серебряная лампадка для святой воды, изредка качавшаяся с легким звоном при дуновении ветра. «А что, если я брошусь вниз? Небольшой прыжок вперед, быстрое падение, потеря сознания при прорезывании простран-

ства!» Он представил себе удар тела о камень и вздрогнул. Но сейчас же все его тело охватило какое-то чувство отвращения, тягостное и в то же время странно-приятное. Воображение представило ему прелести предстоящей ночи – сладко уснуть и проснуться наутро с наплывом нежности, таинственным образом накопившейся во время сна. Мысли и образы сменялись в нем с поразительной быстротой.

Он обернулся и встретил устремленный на него взгляд Ипполиты; он понял, что выражали ее большие расширенные глаза, подошел к ней и ласковым обычным движением взял ее под руку. Она крепко прижалась к его руке. Оба почувствовали внезапную потребность прижаться друг к другу и в забвении слиться воедино.

– Запирают, запирают!

Крики сторожей нарушили тишину под деревьями.

– Запирают!

После этих криков тишина казалась еще более тягостной. Громкие крики сторожей прозвучали на обоих любовников неприятное впечатление. Они ускорили шаги с целью показать, что слышали крики и собирались уходить, но настойчивые голоса продолжали повторять в разных направлениях по пустынным аллеям:

– Запирают!

– Проклятие! – воскликнула Ипполита с досадою, нетерпеливо ускорив шаги.

На колокольне Тринита де Монти прозвонили Angelus. Рим походил на огромное серое бесформенное облако, спустившееся на самую землю. Там и сям в ближайших домах внизу краснели окна, расплывшиеся в тумане. Падали редкие капли дождя.

– Ты придешь ко мне сегодня ночью, неправда ли? – спросил Джорджио.

– Да, да, приду.

– Скоро?

– В одиннадцать.

– Если ты не придешь, я умру.

– Я приду.

Они взглянули друг другу в глаза и обменялись опьяняющим обещанием.

Он спросил, охваченный порывом нежности:

– Ты простишь меня?

Они снова поглядели друг на друга взглядом, полным бесконечной любви.

Тихим голосом он произнес:

– Ненаглядная! Она сказала:

– Прощай. Жди меня в одиннадцать.

– Прощай.

Они расстались на Григорианской улице. Ипполита пошла вниз по улице Капо Ле-Казе. Джорджио глядел, как она удалялась по мокрому тротуару, блестящему при свете витрин. «Вот она оставляет меня, возвращается в незнакомый мне дом к своей обычной вульгарной жизни, сбрасывает идеальный покров, которым я окутываю ее, и становится другой, обыкновенной, женщиной. Я ничего больше не знаю о ней. Низменные нужды обыденной жизни охватывают, занимают и унижают ее. – Из цветочной лавки на него пахло фиалками, и в сердце его зародились неясные желания. – Ах, почему мы не можем устроить нашу жизнь соответственно нашим мечтам и жить всегда только друг для друга».

2

Было десять часов утра, когда лакей пришел будить Джорджио. Он спал крепким сном молодого человека, проведшего ночь, полную любви.

Он ответил лакею недовольным тоном, поворачиваясь на другой бок:

– Меня нет дома ни для кого. Оставьте меня в покое.

Но из соседней комнаты послышался голос назойливого посетителя.

– Извини, что я настаиваю, Джорджио. Мне крайне необходимо поговорить с тобой.

Он узнал голос Альфонса Экзили, и дурное настроение его еще более ухудшилось.

Экзили был его товарищ по школе, человек с весьма ограниченными умственными способностями, разорившийся из-за карточной игры и пьянства и превратившийся в авантюриста в погоне за деньгами. Он мог казаться красивым, несмотря на то, что порок испортил его лицо, но в его манерах и во всей его внешности было что-то неблагородное и вкрадчивое, обнаруживающее человека, принужденного подвергаться постоянным унижениям и искать способа выпутаться из неловкого положения.

Он вошел, подождал, пока лакей вышел из комнаты, и, принимая довольно развязный вид, сказал, наполовину глотая слова:

– Извини, что я обращаюсь к тебе, Джорджио. Мне необходимо уплатить карточный долг. Помоги мне. Сумма маленькая – всего триста лир. Извини, Джорджио.

– Ты, значит, платишь карточные долги? – спросил Джорджио, с полным равнодушием нанося ему оскорбление. Он не сумел окончательно порвать с ним сношения и при встрече относился к нему с необыкновенным презрением, пользуясь им, как палкой, которой отбиваются от гадкого животного. – Ты удивляешь меня.

Экзили улыбнулся.

– Полно, не будь гадким! – сказал он просительным тоном, как женщина. – Ты ведь дашь мне эти триста лир? Даю тебе слово, что завтра же верну их.

Джорджио расхохотался и позвонил. Явился лакей.

– Отыщите связку маленьких ключей в моем платье там, на диване.

Лакей отыскал ключи.

– Откройте второй ящик стола и дайте мне большой бумажник.

Лакей подал ему бумажник.

– Ступайте.

Когда он вышел, Экзили спросил с полуробкой, полусдержанной улыбкой:

– Может быть, ты дашь мне четыреста лир?

– Нет. Получай, это последние. Теперь уходи. Джорджио не подал ему денег, но положил их на краю постели. Экзили улыбнулся, взял деньги и, кладя их в карман, сказал тоном, в котором звучали лесть и ирония:

– У тебя благородное сердце. Он огляделся кругом.

– У тебя также прелестная спальня.

Он сел на диван, налил себе рюмочку ликера и наполнил сигарами портсигар.

– Кто теперь твоя любовница? Ведь не та, что в прошлом году, не правда ли?

– Ступай, Экзили, я хочу спать.

– Какое это чудное создание! Самые красивые глаза в Риме! Она еще здесь? Я не встречаю ее с некоторых пор. Она, вероятно, уехала. У нее есть, кажется, сестра в Милане.

Он налил себе еще рюмку и разом выпил ее; он, может быть, для того и болтал, чтобы успеть опорожнить бутылку.

– Она ведь разошлась с мужем? Ее финансовые дела, должно быть, плохи, но одевается она всегда хорошо. Я встретил ее месяца два тому назад на улице Бабуино. Знаешь, кто будет, вероятно, твоим противником? Этот Монти... Ты едва ли знаешь его; это коммерсант из провинции – высокий, толстый, молодой блондин. Он как раз следил за ней в тот день на улице Бабуино. Знаешь, всегда видно, когда мужчина следит за женщиной... Этот Монти очень богат.

Он произнес последнее слово с легким ударением, и в его отвратительном голосе слышались зависть и жадность. Затем он бесшумно выпил третью рюмку.

– Джорджио, ты спишь?

Джиорджио не ответил, притворяясь спящим, несмотря на то, что слышал все. Он боялся, чтобы Экили не услышал, как бьется его сердце под одеялом.

– Джиорджио!

Он сделал вид, что очнулся от полусна.

– Как! Ты еще здесь? Когда же ты уйдешь?

– Я уйду, – ответил Экили, подходя к кровати. – Погляди-ка, черепаховая шпилька!

Он наклонился, поднял ее с ковра и, с любопытством разглядев ее, положил на покрывало.

– Какой ты счастливый! – сказал он своим обычным полуироническим, полульстивым тоном. – Итак, до свиданья, и благодарю тебя.

Он протянул руку, но Джиорджио не вынул своей руки из-под одеяла. Экили повернулся к двери.

– У тебя прелестный ликер. Я выпью еще рюмочку.

Он выпил и ушел. Джиорджио остался в постели, отравленный ядом злобы и сомнений.

3

Второго апреля должна была наступить вторая годовщина.

– Надо отпраздновать ее где-нибудь вне Рима, – сказала Ипполита. – Мы проведем целую неделю, полную любви, совсем одни где бы то ни было, но только не здесь.

– Помнишь нашу первую годовщину в прошлом году? – спросил Джиорджио.

– Помню.

– Это было на Пасху, в воскресенье на Пасхальной неделе.

– Я пришла к тебе утром в десять...

– На тебе была английская жакетка, которая мне так нравилась. А в руках ты держала молитвенник.

– Я не была в церкви в это утро!

– Но, тем не менее ты страшно торопилась...

– Я без малого убежала тогда из дому. Знаешь, по праздникам меня никогда не оставляли одну. И все-таки я оставалась с тобой до полудня. В тот день у нас были гости к завтраку.

– После того мы целый день не виделись. Это была печальная годовщина.

– Это правда.

– А как чудно светило солнце!

– И сколько цветов было у тебя в комнате!

– Я тоже рано вышел из дому и купил, кажется, все, что было на площади Испании...

– Ты забросал меня лепестками роз; они попали мне даже за шею и в рукава, помнишь?

– Помню.

– Потом, когда я раздевалась дома, я нашла их все. Она улыбнулась.

– Когда я вернулась домой, мой муж заметил один лепесток на моей шляпе в складке кружев.

– Да, ты рассказывала мне.

– Я не выходила из дому в тот день; мне не хотелось. Я все думала и думала. Да, это была печальная годовщина.

Некоторое время она в раздумье молчала, потом спросила:

– Думал ли ты в глубине души, что мы дойдем до второй годовщины?

– Нет, не думал.

– И я тоже нет.

«Вот какова любовь! – подумал Джиорджио. – Она заключает в себе предчувствие своего конца. – Он вспомнил мужа Ипполиты, о котором она только что упомянула, но он относился

к нему без малейшей ненависти, а скорее добродушно и даже с некоторым состраданием. – Она свободна теперь, но почему я теперь беспокоюсь более прежнего? Ее муж служил для меня чем-то вроде страхования. Мне казалось, что он оберегает мою любовницу от опасности. Может быть, я и ошибаюсь. Я и тогда много страдал, но пережитые страдания кажутся всегда слабее настоящих». Занятый своими мыслями, он не слышал слов Ипполиты.

– Итак, куда же мы поедем? Надо решать, завтра первое апреля. Я уже сказала своей матери: «Знаешь, мама, я на днях уеду». Я подготовлю ее и придумаю какой-нибудь правдоподобный предлог. Предоставь мне действовать.

Она говорила весело и улыбалась, но, по мнению Джорджио, в улыбке, сопровождавшей ее последние слова, выражалась постоянная готовность женщины задумать какой угодно обман. Ему не понравилось, что она может легко обманывать свою мать, и он с чувством сожаления вспоминал о бдительности ее мужа. «Почему ее свобода, доставляющая мне в сущности радость и удовольствие, заставляет меня тем не менее страдать? Я не знаю, что бы я дал, только бы освободиться от неотвязной мысли, от оскорбительных для нее подозрений. Я люблю и в то же время оскорбляю ее, люблю и считаю ее способной на низменный поступок».

– Только мы не должны уезжать слишком далеко, – говорила Ипполита. – Ты не знаешь ли тихого уединенного местечка, утопающего в зелени и пооригинальнее? Не Тиволи, конечно, и не Фраскати.

– Возьми со стола Бедекер и поищи.

– Поищем вместе.

Она взяла красную книгу, опустилась на колени перед креслом, на котором он сидел, и с детской грацией стала перелистывать страницы. Иногда она тихим голосом читала вслух какой-нибудь отрывок.

Он глядел на нее, любуясь красотой ее шеи, черные блестящие волосы волнообразно лежали на ее голове.

Она говорила чуть ли не с жалобой:

– Я не нахожу здесь ничего. Губбио, Нарни, Витербо, Орвието... Вот план Орвието: монастырь Святого Петра, монастырь Святого Павла, монастырь Иисуса, монастырь Святого Бернардино, монастырь Святого Людовика, обитель Св. Доминика, обитель Св. Франциска, обитель служителей Марии...

Она читала нараспев, точно в церкви, и вдруг расхохоталась откинув назад голову и подставляя свой красивый лоб для поцелуя.

Она была в этот день в экспансивно-добродушном настроении и живостью напоминала девочку.

– Сколько монастырей и обителей! Это, должно быть, оригинальное местечко! Хочешь, поедем в Орвието?

Неожиданная волна свежести охватила сердце Джорджио. Он с благодарностью принял это утешение и прижался губами ко лбу Ипполиты. Воспоминание о пустынном городе гвельфов, безмолвно обожавшем свой великолепный собор, встало в его памяти.

– Орвието? Ты никогда не была там? Представь себе песчаную гору, возвышающуюся над печальной равниной, и на вершине ее пустынный город, производящий впечатление необитаемого. Окна закрыты, в темных переулках растет трава, одинокий капуцин переходит площадь; перед больницей останавливается черная закрытая карета, дряхлый служитель появляется у дверцы, и из кареты выходит епископ. Башня выделяется на сером, дождливом небе, медленно бьют часы, и вдруг в конце улицы ты видишь чудо: собор!

– Какое спокойствие! – сказала Ипполита немного задумчиво, точно перед глазами стояло видение безмолвного рода.

– Я видел его в феврале в такую же неопределенную погоду, как сегодня, – то дождь, то солнце. Я пробыл там один день и уехал с грустью, унося с собой тоску по мирной тишине. О, какое там спокойствие! Я был один и думал:

«Как хорошо было бы приехать сюда с подругой или лучше с подругой, любящей меня, как сестра, и глубоко набожной и прожить здесь целый месяц, апрель месяц, немного дождливый и туманный, но теплый и с проблесками солнца! Проводить долгое время в соборе, перед ним и около него, собирать розы в садах монастырей, есть варенье у монахинь, пить Est Est Est из этрусских чашечек, много любить и спать мягкой девственной постели под белым пологом...» Слушая его мечты, Ипполита улыбалась счастливой улыбкой и сказала чистосердечным тоном:

– Я набожная. Свези меня в Орвието. Она крепко прижалась к ногам любимого человека и взяла его руки в свои. Она испытывала приятное чувство, предвкушая это спокойствие, беспечное существование и тихую печаль.

– Расскажи мне еще об Орвието.

Он с искренним волнением крепко поцеловал ее в лоб и долго глядел на нее.

– Какой у тебя чудный лоб! – сказал он с легкою дрожью.

В настоящий момент Ипполита отвечала его идеальному представлению о ней, которое он лелеял в своем сердце. Она являлась доброй, нежной, покорной, от нее дышало тихой и благородной поэзией, и, как он характеризовал ее, – *gravis dum suavis* – она была серьезна и нежна.

– Говори! – прошептала она.

Слабый свет вливался в комнату с балкона. Изредка дребезжали стекла в окнах, и капли дождя падали с глухим шумом.

4

– Мы насладились в мечтах лучшей частью удовольствия, пережив мысленно самые приятные ощущения, и я думаю, что нам лучше отказаться от этого опыта. Мы не поедем в Орвието. – И Джорджио выбрал другое место: Альбано Лациале.

Он не знал ни Альбано, ни Ариччия, ни озера Неми. Ипполита в детстве гостила в Альбано в доме тетки, которой теперь не было в живых. Таким образом, это место имело для Джорджио прелесть новизны, а в душе Ипполиты оно возбуждало давнишние воспоминания. Новое красивое зрелище часто обновляет и возвышает любовь. Воспоминание девственного возраста всегда производит на душу живительное и благотворное влияние.

Они решили выехать второго апреля с часовым поездом. В условленный час они были на вокзале. Среди толпы оба чувствовали в глубине души радостную тревогу.

– Заметит нас кто-нибудь? Как ты думаешь? – спрашивала Ипполита, полусмеясь, полудрожа. Ей казалось, что все взгляды устремлены на нес. – Сколько времени осталось еще до отхода поезда? Боже мой, как я дрожу!

Они надеялись, что будут одни в купе, но, к их великому неудовольствию, им пришлось примириться с присутствием трех спутников. Джорджио поклонился какому-то господину с дамой.

– Кто это? – спросила Ипполита, наклоняясь над ухом друга.

– После скажу.

Она с любопытством стала разглядывать их. Господин был старик с длинной, почтенной бородой и огромным желтым черепом, совершенно лысым, на котором красовалась глубокая впадина, напоминающая знак, оставляемый большим пальцем при нажатии на что-нибудь мягкое. Лицо дамы, закутанной в персидскую шаль, было худое и задумчивое; своей внешностью и выражением лица она напоминала английскую карикатуру на синий чулок. Но в голу-

бых глазах старика отражалась какая-то странная живость; они блестели внутренним огнем, как у энтузиаста. Вдобавок он ответил на поклон Джорджио Ауриспа с высшей степени приветливой улыбкой.

Ипполита рылась в своей памяти. Где она встречала эту пару? Она никак не могла вспомнить этого, но смутно чувствовала, что эти две странные старческие фигуры играли каую-то роль в истории ее любви.

– Скажи мне, кто это? – повторила она на ухо другу.

– Мартлет, мистер Мартлет с женой. Они принесут нам счастье. Знаешь, где мы их встретили?

– Не знаю, только я, несомненно, где-то видела их.

– Они были в часовне на улице Бельсиана второго апреля, когда я в первый раз увидел тебя.

– Ах, да, да, помню.

Ее глаза заблестели. Эта встреча показалась ей счастливой, и она снова чуть не с нежностью поглядела на стариков.

– Какое удачное предзнаменование!

Она откинулась назад и отдалась воспоминаниям, охваченная тихой грустью. В ее уме снова предстала маленькая уединенная церковь на улице Бельсиана, окутанная голубым полумраком. Хор молодых девушек стоял на возвышении, напоминавшем изогнутый балкон; внизу перед попитрами из светлой березы стояло несколько музыкантов со струнными инструментами; кругом на дубовых стульях расположились немногочисленные слушатели, почти все седые или лысые; дирижер отбивал такт. Распространившийся по всей церкви запах ладана и фиалок смешивался с музыкой Себастьяна Баха.

Под впечатлением приятных воспоминаний Ипполита снова наклонилась к другу и прошептала:

– Ты тоже вспоминаешь об этом?

Ей хотелось сообщить ему о своем волнении, доказать ему, что она не забыла даже мельчайших подробностей этого торжественного события. Он тайным движением взял ее руку, спрятанную в широких складках плаща, и крепко сжал ее. Обоих охватила легкая дрожь, напоминавшая приятные ощущения первых времен. И так они сидели в задумчивости, немного взволнованные, немного утомленные жарой. Ровное и постоянное движение поезда укачивало их. Изредка в окне мелькал зеленый пейзаж, окутанный туманом. Небо покрылось тучами, и пошел дождь. Мистер Мартлет дремал в углу; мистрисс Мартлет читала журнал *Luceum*. Третий путешественник надвинул шапку на глаза и спал крепким сном.

Когда хор сбивался с такта, мистер Мартлет начинал с яростью отбивать такт вместе с дирижером. В некоторых местах все эти старики начинали отбивать такт, охваченные музыкальным экстазом. В воздухе запах ладана и фиалок. Джорджио предался целиком упорному наплыву воспоминаний. «Мог ли я представить себе более поэтическую и странную прелюдию к своей любви? Она кажется воспоминанием о каком-то фантастическом повествовании, а на самом деле это воспоминание из моей действительной жизни. Мельчайшие подробности встают передо мной. Это поэтическое начало бросило тень мечты на мою дальнейшую любовь. – Под влиянием легкой жары он останавливался мысленно на неясных картинах. – Несколько капель ладана... букетик фиалок...»

– Погляди, как крепко спит мистер Мартлет, – тихонько сказала ему Ипполита. – Спокойно, как ребенок.

И она добавила с улыбкой:

– Тебя тоже немного клонит ко сну, не правда ли? Дождь не перестает. Какое странное ощущение! У меня веки отяжелели.

И она взглянула на него полускрытыми глазами из-под длинных ресниц.

«Как мне понравились сразу ее ресницы! – думал Джорджио. – Она сидела посредине часовни на стуле с высокой спинкой. Ее профиль выделялся на освещенном окне. Когда облака на небе разошлись, свет стал вдруг ярче. Она слегка пошевелилась, и я увидел ее освещенные ресницы во всей их длине. Какие чудные ресницы!»

– Скажи, мы скоро приедем? – спросила Ипполита. Свисток паровоза сообщил о приближении к станции.

– Хочешь держать пари, – добавила она, – что мы проехали мимо?

– О нет, не может быть!

– Хорошо, спроси.

– Сеньи-Палиано, – кричал хриплый голос вдоль вагонов.

Джорджио подошел к двери немного задумчиво.

– Альбано? – спросил он.

– Нет, синьор, Сеньи-Палиано, – с улыбкою ответил человек. – Вы едете в Альбано? Вы должны были выйти в Чеккине, синьор.

Ипполита так громко расхохоталась, что мистер и мистрисс Мартлет с удивлением поглядели на нее. Ее веселость сейчас же передалась и другу:

– Что нам делать?

– Прежде всего необходимо выйти.

Джорджио подал человеку ручной багаж, а Ипполита продолжала смеяться искренним и живым смехом, весело принимая это неожиданное приключение. Мистер Мартлет, по-видимому, с веселым добродушием встретил эту волну молодости, похожую на волну солнечного света. Он поклонился Ипполите, а она чувствовала в глубине души какое-то неясное сожаление.

– Бедный мистер Мартлет! – сказала она полушутливым, полусерьезным тоном, глядя вслед поезду, удалявшемуся среди пустынной и голой местности. – Мне жаль расставаться с ним.

– Почему знать, увижу ли я его еще?

И, оборачиваясь к Джорджио, она сказала:

– А что теперь?

Какой-то человек на станции предупредил их:

– В половине пятого проходит поезд в Чеккину.

– Недурно! – воскликнула Ипполита. – Теперь половина третьего. Но я объявляю, что с настоящего момента я беру в свои руки высшее руководство путешествием. Ты поедешь туда, куда я повезу тебя. Держись за меня крепче, Джорджио. Смотри не потеряйся.

Она, шутя, говорила с ним, как с ребенком. Оба были веселы.

– Где же Сеньи? Где Палиано?

Вблизи не было видно жилья. Низкие безлюдные холмы зеленели под серым небом. Тонкое и корявое одинокое деревцо качалось в сырости около рельсов.

Накрапывал дождь, и путники пошли укрыться на станции в маленькой комнатке с потухшим камином. На стене висела старая разорванная географическая карта с нанесенными на ней черными линиями; на другой стене висело квадратное объявление о каком-то эликсире. Против потухшего камина стоял обтянутый клеенкой диван, выдыхавший через многочисленные раны свою пеньковую душу.

– Погляди-ка, – воскликнула Ипполита, читая Бедкер, – в Сеньи есть гостиница Гаэтино.

Это название рассмешило ее.

– Почему бы нам не выкурить папиросы? – сказал Джорджио. – Теперь три часа. Два года тому назад я входил в это время в часовню...

Воспоминание о великом дне снова всплыло в их памяти. Несколько минут они молча курили, прислушиваясь к шуму усиливающегося дождя. Сквозь запотевшие стекла виднелось тщедушное деревцо, гнущееся под порывами бури.

– Моя любовь старше твоей, – сказал Джиорджио. – Она зародилась еще до того дня.

Ипполита запротестовала.

– Я помню, как ты первый раз прошла мимо меня, – продолжал он тихим голосом, под влиянием обаяния безвозвратно прошедших дней. – Ты произвела на меня неизгладимое впечатление. Это было вечером, когда на улицы спускается мрак и начинают зажигать огни... Я стоял один перед витриной Алинари и глядел на прохожих, но почти не замечал их. Я находился в каком-то неопределенном состоянии не то усталости, не то грусти и чувствовал смутное стремление ко всему идеальному и желание загладить отвращение. Я не рассказывал тебе этого? Я вышел только что из дома... Как странно, что после самого низкого падения душа стремится ввысь. В тот вечер как раз меня охватила жажда поэзии и стремление ко всему возвышенному, нежному и отвлеченному. Может быть, это было предчувствие?

Он долгое время молчал, и Ипполита не нарушала его молчания в надежде, что он будет продолжать. Она с огромным наслаждением слушала его, окутанная легким дымом папиросы, казавшимся ей покровом, наброшенным на их туманные воспоминания.

– Это было в феврале. Заметь, что именно около этого времени я был в Орвието. Сколько мне помнится, я даже как раз собирался войти к Алинари спросить фотографию собора. И ты прошла мимо меня! Только два или три раза после того я видел тебя такой бледной. Ты не можешь представить себе, Ипполита, как ты была бледна. Я никогда не видел ничего подобного и думал: «Как может эта женщина двигаться? Ведь в ее жилах, по-видимому, нет ни капли крови». Эта сверхъестественная бледность в глубоком полумраке, спускавшемся на тротуар, делала тебя похожей на воздушное создание. Я не глядел на твоего спутника, не пошел за тобой, и ты даже мельком не взглянула на меня. Я припоминаю еще следующую подробность: пройдя несколько шагов, ты остановилась, потому что фонарщик занял весь тротуар. Я как сейчас вижу в воздухе блестящий огонек на конце палки, и фонарь внезапно зажигается и освещает тебя.

Ипполита улыбнулась немного печальной улыбкой; подобная грусть находит на женщин, когда они видят, какими они были прежде.

– Да, я была бледна, – сказала она. – Я за несколько недель до того встала с постели после трехмесячной болезни. Я была близка к смерти.

В окно ударил сильный порыв дождя. Маленькое деревцо отчаянно билось, делая почти круговые движения, точно чья-то рука старалась вырвать его с корнем. Джиорджио и Ипполита несколько минут глядели на эту отчаянную борьбу, напомиравшую проявление сознательной жизни в голой, унылой, безжизненной местности. У Ипполиты явилось даже чувство сожаления к деревцу. Его воображаемые страдания напоминали им об их собственных мучениях. Они глядели на пустынную местность, окружавшую заброшенное здание, мимо которого время от времени проходил поезд, наполненный пассажирами; и, наверно, каждый из этих пассажиров имел свои волнения и заботы. Печальные картины быстро сменялись в их уме, возбуждаемые теми самыми предметами, на которые они только что глядели веселыми глазами. Но эти картины исчезли, и, заглянув в свою душу, Джиорджио и Ипполита нашли в глубине ее невыразимо тягостное чувство: сожаление о безвозвратно минувших днях.

Их любовь имела за собой длинное прошлое и влекла за собой темную сеть, полную безжизненных вещей.

– Что с тобой? – спросила его Ипполита немного изменившимся голосом.

– А с тобой что? – спросил Джиорджио, устремляя на нее пристальный взгляд.

Ни один из них не ответил на вопрос другого. Они замолчали и снова принялись глядеть в окно. Небо, казалось, улыбалось плаксивой улыбкой. Бледные солнечные лучи заиграли на холме, залили его слабым золотым светом и потухли. Новые лучи зажглись и тоже исчезли.

– Ипполита Санцио, – сказал Джорджио, медленно произнося это имя, точно он желал насладиться им. – Как я задрожал, когда узнал, как тебя зовут. Чего только мне не говорило твое имя! Так звали мою умершую сестру, и это красивое имя было привычно для меня. Я сейчас же подумал, глубоко взволнованный: «Неужели мои губы опять приобретут дорогую привычку?» В течение всего дня воспоминания об умершей смешивались в моем уме с тайными мечтами. Я не искал и не преследовал тебя, не желая быть назойливым, но чувствовал непонятную уверенность в том, что рано или поздно ты узнаешь и полюбишь меня. Какое это было приятное чувство! Я жил вне реального мира и наполнял свой досуг музыкой и возвышенным чтением. Действительно, однажды я увидел тебя на концерте Джорджини Сгамбати, но только в тот момент, когда ты выходила из зала. Ты взглянула на меня. Другой раз ты тоже поглядела на меня (может быть, ты помнишь?). Это было, когда мы встретились в начале улицы Бабуино, как раз перед книжным магазином Пиале.

– Я помню это.

– Ты была с девочкой.

– Да, с моей племянницей Цецилией.

– Я остановился на тротуаре, чтобы пропустить тебя, и заметил, что мы с тобой одинакового роста. Ты была менее бледна, чем обыкновенно. У меня в голове мелькнула гордая мысль...

– Ты догадывался.

Ипполита улыбнулась, но, видя, что он говорит предпочтительно о первых проблесках своей любви, она почувствовала в глубине души некоторое сожаление. Значит, это время казалось ему лучшим? Значит, эти воспоминания были для него самыми приятными?

– Как я ни презираю обыденную жизнь, – продолжал Джорджио, – но я никогда не мог бы мечтать о таком таинственном и фантастическом убежище, как заброшенная церковь на улице Бельсиана. Ты помнишь это? Дверь на улицу над входными ступеньками была закрыта – закрыта, может быть, уже много лет. К церкви подходили по маленькому переулку, в котором пахло вином; на одном доме красовалась красная вывеска виноторговца. В церковь входили сзади через ризницу, помнишь, такую маленькую, что в ней с трудом помещался один священник и пономарь. Я вошел в царство Мудрости... О, эти старики и старухи, расположившиеся кругом на старинных стульях! Где Александр Мемми нашел свою аудиторию! Ты, мой друг, вероятно, не понимала, что представляешь Красоту в совете философов, любителей музыки. Этот Мартлет, видишь ли, мистер Мартлет – один из наиболее убежденных буддистов наших дней, а жена его написала книгу о философии музыки. Дама, сидевшая рядом с тобой, была Маргарита Траубе Болль, знаменитая женщина-врач, продолжавшая труды своего умершего мужа о функциях органа зрения. Вошедший на цыпочках господин в зеленоватом пальто был спирит, доктор Флейшль, еврей, немецкий врач, великолепный пианист, до фанатизма увлекающийся Бахом. Священник, сидевший у распятия, был граф Кастракане, бессмертный ботаник. Против него сидел другой ботаник – Кубони, бактериолог, занимавшийся микроскопическими исследованиями. Тут же были Яков Молешотт, знаменитый физиолог, высокий, седой, незабвенный старик, и Блазерна, сотрудник Гельмгольца в теории музыки, и мистер Дэвис, художник-философ, прерафаэлит, углубившийся в браманизм... Было еще несколько человек: все редкие умы, посвятившие себя самым возвышенным вопросам современной науки, холодные исследователи жизни и страстные поклонники мечты.

Разве это не кажется невероятным и неправдоподобным? – воскликнул он. – В Риме, в городе умственного бездействия, любитель музыки, буддист, издавший два тома записок о философии Шопенгауэра, позволяет себе роскошь исполнить мессу Себастьяна Баха исключи-

тельно для своего собственного удовольствия в уединенной церкви перед аудиторией великих ученых, любителей музыки, дочери которых участвуют в хоре. Разве это не страница из Гофмана? В весенний, немного серый, но теплый день старые философы выходят из своих лабораторий, где они долго трудились, чтобы вырвать у жизни тайну, и собираются в заброшенной часовне, чтобы упиться страстным увлечением, соединяющим их сердца, и возвыситься над обыденной жизнью. И в присутствии всех этих стариков нежная музыкальная идиллия разворачивается между родственницей буддиста и другом буддиста, а в конце мессы бессознательный буддист представляет божественной Ипполите Санцио ее будущего друга!

Он засмеялся и встал.

– Мне кажется, что я почтил это событие по всем правилам.

Ипполита сидела в задумчивости и сказала:

– Ты помнишь, это было в субботу, накануне Вербного Воскресенья.

Она тоже встала и, подойдя к Джорджио, поцеловала его в щеку.

– Не хочешь ли пройтись? Дождь перестал.

Они вышли и стали гулять по мокрой платформе, блестящей при слабом солнечном освещении. Холодный воздух оживил их. Зеленые холмы, изрезанные светлыми полосами, уступами спускались вниз. Там и сям в огромных лужах слабо отражалось небо с проглядывавшей между разорванными облаками лазурью. Капли дождя на маленьком деревце изредка сверкали на солнце.

– Деревцо запечатлеется в нашей памяти, – сказала Ипполита, останавливаясь поглядеть на него. – Как оно одиноко!

Звонок на станции известил их о приближении поезда. Было четверть пятого. Железнодорожный служащий предложил свои услуги, чтобы пойти взять билеты.

– В котором часу мы будем в Альбано? – спросил Джорджио.

– Около семи.

– Будет уже темно, – сказала Ипполита, беря Джорджио под руку. Она немного озябла и радовалась при мысли, что приедет в холодный вечер в незнакомую гостиницу и будет обедать с ним одна перед зажженным камином.

Они оказались совсем одни в купе, закрыли окна, а когда поезд тронулся, бросились друг другу в объятия и стали целоваться, называя друг друга всеми нежными именами, какие они употребляли в течение этих двух лет. Потом они уселись рядом, слабо улыбаясь и чувствуя, что кровь успокаивается в их жилах. В окне мелькал однообразный пейзаж, окутанный бледно-фиолетовым туманом.

– Положи голову мне на колени, – сказала Ипполита, – и вытянись на диване.

Джорджио повиновался.

– У тебя губы стали сухими от ветра, – сказала она и отвела от них его легкие усы. Он поцеловал ее пальцы; она стала играть его волосами и сказала:

– У тебя тоже очень длинные ресницы.

Она закрыла ему глаза, чтобы любоваться его ресницами, стала ласкать его лоб и дала снова перецеловать все свои пальцы, наклонив к нему голову. Он видел снизу, как ее рот медленно открывался, из глубины его показывались белоснежные зубы. Она закрывала рот; потом опять ее губы медленно раскрывались, подобно цветку из двух лепестков, и между ними вырисовывалась жемчужная белизна зубов.

Они забыли все кругом и упивались ласками. Однообразный шум укачивал их. Тихим счастливым голосом они обменивались нежными словами.

Она сказала с улыбкой:

– Мы путешествуем с тобой в первый раз и в первый же раз находимся одни в поезде.

Ей доставляло удовольствие сознание, что они делали что-то новое. Желание, уже прежде мучившее Джорджио, теперь давало себя чувствовать еще сильнее. Он привстал, поцеловал

ее в шею, как раз в родинки, и прошептал ей несколько слов на ухо. Ее глаза как-то странно вспыхнули, но она с живостью ответила:

– Нет, нет, мы должны вести себя хорошо до сегодняшнего вечера; надо подождать. Зато как будет чудно потом!

Ей снова представилась тихая гостиница, комната со старинной мебелью и с большой кроватью под белым пологом.

– В Альбано в настоящее время, наверное, почти никого нет, – сказала она, желая отвлечь мысли друга. – Как нам будет хорошо совсем одним в пустынной гостинице. Нас примут за молодых.

Она дрожала от холода и, плотнее укутавшись в свой плащ, прижалась к плечу Джорджио:

– Сегодня холодно, не правда ли? Сейчас же по приезду мы велит затопить камин и выпьем по чашке чаю.

Они с огромным удовольствием предались мечтам о предстоящем счастье и шепотом обменялись пылкими обещаниями. Кровь волновалась в их жилах. Но ожидание будущего счастья усиливало настоящее желание; оно делалось неудержимым. Они замолчали. Губы их слились в долгий поцелуй, и они перестали слышать что бы то ни было, кроме шума своей волнующейся крови. Страстное желание ослепило их.

– Хочешь? – спросил Джорджио, внезапно падая на колени.

Она не ответила, но отдалась ему.

Обоим показалось после того, что какой-то туман рассеялся перед их глазами, что что-то изменилось внутри них и какие-то чары исчезли. Огонь в камине воображаемой комнаты потух, постель приняла холодный, неудобный вид, тишина в пустынной гостинице стала подавляющей. Чувствуя себя униженной из-за того, что она уступила дикому порыву, не имевшему, может быть, ничего общего с любовью, Ипполита сказала:

– Зачем мы сделали это?

Ее голос был печален, но мягок. Она прислонилась головой к спинке дивана и стала глядеть, как широкий однообразный пейзаж погружался во тьму.

А Джорджио, сидя рядом с ней, попал во власть своих дурных мыслей. Ужасное видение мучило его, и он не мог отогнать его, потому что видел его глазами души – глазами без век, которых никакая воля не способна закрыть.

– О чем ты думаешь? – спросила его Ипполита с беспокойством.

– О тебе.

Он думал о ее свадебном путешествии и об обычае, общем для всех молодых супругов. Она, конечно, осталась в поезде с мужем наедине, как теперь со мной, и, вероятно, подверглась во время путешествия первому насилию. Должно быть, тяжелое воспоминание об отвратительном факте побудило ее ответить мне теперь с такою живостью: «Нет, нет». И он вспомнил о быстрых приключениях во время хода поезда между станциями, о внезапно волнующих взглядах, о проявлениях чувственности в темных туннелях в душные летние дни.

– Какой ужас! Какой ужас! – И он сильно задрожал.

Ипполита знала, что эта дрожь служит верным признаком болезни, мучившей ее друга, и спросила, взяв его за руку:

– Ты страдаешь?

Он утвердительно кивнул головой и с болезненной улыбкой поглядел на нее. У нее не хватило смелости расспрашивать его, так как она боялась, что он ответит ей резким и оскорбительным словом. Она предпочитала молчать, но долгим обычным поцелуем поцеловала его в лоб в надежде рассеять его тяжелые мысли.

– Вот и Чекина! – воскликнула она, поднимаясь при свисте паровоза. – Вставай, вставай, мой друг, пора выходить.

Она старалась быть веселой, желая развеселить его, спустила окно и высунула голову наружу.

– Вечер холодный, но приятный. Вставай, мой друг! Сегодня годовщина, и мы должны быть веселыми.

При звуке ее нежного и сильного голоса он отогнал от себя гадкие мысли и, выйдя на свежий воздух, скоро успокоился.

Ясный вечер спустился на насыщенную влагой местность. В прозрачном воздухе блестяли последние лучи света. Звезды одна за другой зажигались на небе, как бы на невидимых висячих канделябрах, парящих в воздухе.

– Мы должны быть счастливыми! – Джиорджио повторял про себя слова подруги, и его сердце наполнялось несбыточными мечтами. Тихая комната, зажженный камин и белая постель показались ему слишком ничтожными элементами счастья в эту тихую и торжественную ночь.

– Сегодня годовщина. Мы должны быть счастливыми. – Что он делал и думал два года тому назад в это время? Он бесцельно бродил по улицам, инстинктивно стремясь достигнуть чего-то возвышенного и тем не менее направляя шаги в людные места, где его гордость и счастье казались ему возвышенными перед контрастом обыденной жизни. А городской шум, окружавший его, долетал до его слуха, точно издалека.

5

От старой гостиницы Людовика Тоньи веяло чуть не монастырской тишиной. Длинный вход был отделан под мрамор, и стены на лестничных площадках были покрыты многочисленными досками с надписями. Каждая вещь носила отпечаток старины. Старомодные формы кроватей, стульев, кресел, диванов, комодов совершенно вышли из употребления. В середине потолков на светло-желтом или голубом фоне красовались гирлянды роз и разные символические изображения – лиры, факелы, колчаны. Цветы на коврах и бумажных обоях побледнели и почти исчезли. Скромные, белые тюлевые занавески у окон висели на потерявших позолоту карнизах. Старинные картины в выцветших рамках, отражавшиеся в зеркалах в стиле рококо, имели мрачный и унылый вид.

– Как мне здесь нравится! – говорила Ипполита, поддаваясь тишине окружавшей обстановки. Она уселась в большое мягкое кресло и прислонилась головой к спинке, на которую была наброшена скромная, белая вязаная салфеточка в виде полумесяца. – Мне даже не хочется двигаться с места.

Она вспомнила свою тетю Джиованну и далекое детство.

Я помню, что у бедной тети был дом, похожий на этот, где мебель веками стояла на одном месте. Я никогда не забуду ее отчаяния, когда я сломала ей стеклянный колпак, знаешь, над искусственными цветами... Я помню, как плакала бедная старушка, и, как сейчас, вижу ее в черной кружевной наkolке с белыми локонами на висках...

Она говорила тихим голосом и часто останавливалась, глядя на пылающий огонь и улыбаясь Джиорджио. Под ее усталыми глазами вырисовывались черные круги. С улицы долетал до них ровный непрерывный стук мостивших улицу рабочих.

– В доме был большой чердак с двумя или тремя окошечками, населенный голубями. Туда взбирались по маленькой крутой лестнице. На стенах чердака висели сухие заячьи шкурки с шерстью, натянутые на палках. Я ежедневно ходила кормить голубей. Заслыша мои шаги, они слетались к двери, а когда я входила, они осаждали меня. Я садилась на пол и разбрасывала им принесенный ячмень. Голуби окружали меня; все были белые. Я глядела, как они клюют ячмень. Из соседнего дома слышались звуки флейты – все одна и та же мелодия в один и тот же час. Эта музыка казалась мне очаровательной. Я слушала с открытым ртом,

подняв голову в сторону окна, и упивалась звуками. Иногда в окошечко влетал запоздавший голубь, задевая крыльями за мою голову и оставляя у меня в волосах два-три пера. А невидимая флейта играла и играла... Эта мелодия до сих пор не выходит у меня из головы; я могла бы даже пропеть ее. В это время, среди голубей, у меня зародилась страсть к музыке...

Она говорила тихим голосом и часто останавливалась, глядя расширенными глазами на разгоревшийся огонь: казалось, что он притягивал и начинал гипнотизировать ее. А с улицы доносился ровный и однообразный стук мостивших улицу рабочих.

6

Однажды они возвратились немного усталые с прогулки на озеро Неми. Они позавтракали в вилле Чезарини под тенью роскошных цветущих камелий и с чувством людей, разглядывающих что-то в высшей степени таинственное, полюбовались зеркалом Дианы, холодным и непроницаемым для взгляда, подобно голубому льду.

Придя домой, они по обыкновению заказали чай. Ипполита, рывшаяся в своем чемодане, вдруг обернулась в сторону Джорджио, показывая ему перевязанный ленточкой пакетик.

– Погляди-ка! Твои письма... Я всегда вожу их с собой. Джорджио воскликнул с видимым удовольствием:

– Все? Ты все сохраняешь?

– Да, все. Тут и записки, и телеграммы. Не достает только одной записки, которую я бросила в огонь, чтобы она не попала в руки моего мужа. Но я храню обгоревшие кусочки; некоторые слова можно разобрать.

– Покажи мне! – попросил Джорджио.

Она ревнивым жестом спрятала пакет и, видя, что Джорджио с улыбкой подходит к ней, убежала в соседнюю комнату.

– Нет, нет, ничего не увидишь; я не хочу.

Она противилась, отчасти шутя, отчасти потому, что ревниво оберегала эти письма, подобно тайному сокровищу, с гордостью и со страхом, и не хотела, чтобы их видел даже тот, кто написал их.

– Пожалуйста, покажи их мне! Мне очень любопытно перечитать письма, написанные два года тому назад. Что я писал тебе?

– Огненные вещи.

– Пожалуйста, покажи.

Она, наконец, согласилась, уступая настойчивым ласкам друга.

– Так подождем, пока подадут чай, и тогда перечитаем их вместе. Не хочешь ли затопить камин?

– Нет, сегодня ведь почти жаркий день.

День был ясный, и серебристый свет разливался в неподвижном воздухе. Дневной свет становился мягче, проникая в комнату через тюлевые занавеси. Свежие фиалки, набранные в вилле Чезарини, наполняли всю комнату своим благоуханием.

– Вот и Панкратио, – сказала Ипполита, услышав стук в дверь.

Добрый слуга Панкратио вошел с неизменной улыбкой на губах, поставил поднос на стол, обещал на вечерний обед ранние плоды и вышел из комнаты быстрыми прыгающими шажками.

Ипполита налила чай в чашки; они задымились, подобно кадилам. Затем она развязала пакет; письма лежали в порядке, разделенные на мелкие связки.

– Какое множество! – воскликнул Джорджио.

– Не так уж много. Здесь двести девяносто четыре письма, а два года состоят из семисот тридцати дней.

Оба улыбнулись и, усевшись рядом за стол, начали чтение. Перед этими документами своей любви Джиорджи почувствовал какое-то странное, нежное и в то же время сильное волнение. Первые письма привели его ум в замешательство. Душевное состояние, проглядывавшее в этих письмах, показалось ему сначала непонятным. Некоторые возвышенные лирические фразы поразили его, а пыл юношеской страсти буквально ошеломил его в окружающей мирной обстановке тихой и скромной гостиницы. Одно письмо гласило: «Сколько раз мое сердце стремилось к тебе сегодня ночью! Тяжелое тревожное чувство мучила меня даже в краткие промежутки сна, и я открывал глаза, чтобы отогнать призраки, поднимавшиеся из самой глубины моей души. Одна только мысль не покидает и постоянно терзает меня; это мысль о том, что ты можешь уехать далеко. Возможность этого никогда еще так не ужасала меня и не причиняла мне таких безумных страданий, как теперь. В настоящий момент я имею твердую, ясную и очевидную уверенность, что без тебя жизнь для меня невозможна. Когда тебя нет, дневной свет меркнет в моих глазах и земля кажется мне бездонной могилой – я вижу смерть». В другом письме, написанном вскоре после отъезда Ипполита, стояло: «Я делаю страшные усилия, чтобы держать перо. Силы совершенно оставили меня; я стал безволен и чувствую себя настолько подавленным, что не испытываю к жизни ничего, кроме отвращения. Сегодня душный, невыносимый, почти убийственный день. Время тянется медленно, и мои страдания растут с каждой минутой и становятся все тяжелее и ужаснее. Мне кажется, что в моих жилах течет какая-то ядовитая и безжизненная жидкость. Какие это страдания – нравственные или физические? Я не знаю. Я сижу равнодушный и неподвижный под гнетом тяжести, которая давит, но не убивает меня». В третьем письме он писал: «Я наконец получил твое письмо сегодня в четыре часа, как раз, когда пришел в полное отчаяние. Я много раз перечитывал его, стараясь в нем найти то, чего ты не могла выразить словами, тайну своей души, что-то более живое и нежное, чем слова, написанные на безжизненной бумаге. Я страшно стремлюсь к тебе, но напрасно ищу на бумаге следы твоего прикосновения, дыхания, взгляда. Я не знаю, что бы я дал, чтобы иметь по крайней мере иллюзию твоего присутствия. Пришли мне цветок, который ты долго целовала, или нарисуй круг, к которому ты долго прижималась губами, одним словом, сделай, чтобы я наслаждался в воображении лаской, присланной мне тобой издалека... Издалека! Издалека! Сколько времени я уже не целую и не обнимаю тебя и ты не бледнеешь в моих объятиях? Год? Или целый век? Где ты теперь? За далекими морями! Я провожу время, ничего не делая, и только думаю. Моя комната стала мрачной, как подземная часовня. Иногда я вижу себя лежащим в гробу, я гляжу на себя, мертвенно-неподвижного. И после этого видения я успокаиваюсь». Подобные крики и стоны вылетали из писем, лежавших на столе, покрытом рукодельной салфеткой, а тут же рядом дымились простые чашечки с невинным напитком.

– Помнишь? – сказала Ипполита. – Это было, когда я в первый раз уехала из Рима всего на две недели.

Джиорджи углубился в воспоминания о своих безумных волнениях, старался восстановить их в своей памяти и понять их. Но окружающая мирная обстановка не благоприятствовала внутренним усилиям, которые он делал. Чувство уютности и спокойствия теснило его ум, подобно мягкой повязке. Теплый чай, мягкий свет, запах фиалок.

«Неужели я так далек теперь от прежних волнений? – думал он. – Здесь видны только мои отчаянные страдания и пылкая страсть. Но где же мои нежные чувства? Где же мое сложное и возвышенное печальное настроение и глубокие огорчения, в которых душа терялась, как в лабиринте». Он с сожалением убеждался в том, что в его письмах не хватает наиболее возвышенных проявлений его души, которые он всегда лелеял с большой заботливостью. Углубляясь понемногу в чтение, он пропускал тирады чистого красноречия и искал в письмах указания на мелкие факты, подробности разных событий и памятные происшествия.

В одном письме он нашел: «Около десяти часов я явился машинально в укромный уголок в саду Мортео, где я столько раз видел тебя по вечерам. Последние тридцать пять минут

перед твоим отъездом показались мне страшно тягостными. Ты уезжала, и я не мог видеть тебя, покрыть твое лицо поцелуями и повторить тебе последний раз: „Помни, помни!“ Около одиннадцати часов я инстинктивно обернулся. Твой муж входил в сад со знакомой дамой и с приятелем. Они, очевидно, возвращались с вокзала, проводив тебя. Болезненные судороги свели мое тело; я был вынужден встать и уйти. Присутствие этих троих людей, болтавших и смеявшихся, как будто ничего не случилось, приводило меня в полное отчаяние. Они подтверждали мне своим присутствием, что ты действительно уехала».

Он вспомнил, как в летние вечера Ипполита сидела за столом с мужем, капитаном пехоты и маленькой неуклюжей дамой. Он не знал никого из этих трех лиц, но каждый их жест, манера держать себя и вся их вульгарная внешность раздражали его! Он представлял себе их идиотские речи, к которым изящное сострадание, казалось, прислушивалось с постоянным вниманием.

– Вот письмо из Венеции...

Они стали читать вместе; оба дрожали. «Я в Венеции с 9-го числа, *plus trist que jamais*. Венеция душит меня. Мои прежние мечты не могут сравняться по красоте с мечтами, которые теперь поднимаются из моря. Я умираю от грусти и стремления к тебе. Почему тебя нет здесь? О, если бы ты приехала, как собиралась! Может быть, нам удалось бы вырваться на один час из-под бдительного надзора, и среди наших многочисленных воспоминаний это было бы самое божественное...» На другой странице стояло: «Странная мысль мелькает иногда у меня в голове и глубоко волнует меня; это безумная мысль, мечта. Мне приходит в голову, что ты могла бы внезапно приехать в Венецию одна и быть моей, исключительно моей!» И далее: «Красота Венеции представляется в моих глазах естественным фоном для твоей красоты. Твой богатый и теплый румянец, состоящий из бледного янтаря, матового золота и начавшей отцветать розы, лучше всех цветов гармонирует с венецианским воздухом. Я не знаю, как выглядела Катерина Корнаро, королева Кипра, но почему-то мне думается, что она была похожа на тебя. Вчера я проезжал по Канале Гранде мимо великолепного дворца королевы Кипра. Поэтическое чувство охватило меня. Не жила ли ты когда-нибудь в этом королевском дворце и не смотрела ли с балкона, как солнечные лучи играют в воде? Прощай, Ипполита, у меня нет мраморного дворца на Канале Гранде, достойного твоего царствования, и ты не вольна в своей судьбе». Далее он писал: «Здесь пользуется большим почетом Паоло Веронезе. Одна картина его напомнила мне на днях наше паломничество в Римини, в церковь Сан-Джулиано. Мы были страшно печальны тогда. По выходе из церкви мы пошли в поле по берегу реки, направляясь в сторону далекой группы высоких деревьев. Помнишь, это был последний раз, что мы виделись и разговаривали. Последний раз! А что, если ты внезапно приедешь в Венецию из Виньолы?»

– Да, это было постоянное утонченное искушение, которому я не могла противостоять, – сказала Ипполита.

– Ты не можешь себе представить моих мучений. Я не спала по ночам, придумывая способ уехать одна, не возбуждив подозрений в душе моих хозяев. Это было чудо ловкости с моей стороны; я не помню теперь, как я действовала... Когда я осталась с тобой наедине в гондоле на Канале Гранде на заре сентябрьского утра, я не верила, что это правда. Помнишь, как я разрыдалась и не могла произнести ни слова.

– Но я ожидал тебя. Я был твердо убежден в том, что ты приедешь ко мне во что бы то ни стало.

– Это была первая неосторожность.

– Это правда.

– Что же из этого? Разве так не лучше? Разве не лучше, что я теперь принадлежу исключительно тебе? Я не раскаиваюсь ни в чем.

Джиорджио поцеловал ее в висок. Они долго разговаривали о происшествии, оставившем в их памяти одно из лучших и своеобразнейших воспоминаний, и в мельчайших подроб-

ностях воспроизвели в памяти два дня тайной жизни в гостинице Даниели, два дня забвения и высшего опьянения чувств, когда они, казалось, забыли все окружающее и пережитое.

С этих дней начались несчастья Ипполиты. В следующих письмах указывалось на ее страдания. «Когда я вспоминаю, что я служу причиной твоих страданий, меня начинают мучить невыразимые угрызения совести; мне хотелось бы, чтобы ты знала, как горячо я люблю тебя, и чтобы ты простила мне. Знаешь ли ты, как я люблю тебя? Уверена ли ты, что моя любовь стоит твоих долгих страданий? Вполне ли ты в этом уверена, глубоко ли ты сознаешь?» С каждой страницей пыл его страсти возрастал. Затем наступил длинный промежуток времени без писем, с апреля по июль. Как раз в это время разразилась катастрофа. Слабохарактерному мужу Ипполиты не удалось никакими способами сломить открытого и упорного возмущения ее, и он уехал и даже чуть не бежал, оставив крайне запутанными дела, в которые была вложена большая часть его состояния. Ипполита нашла убежище в доме матери, а затем переехала к сестре на дачу в Коронно. Страшная нервная болезнь, напоминавшая внешними проявлениями падучую и проявлявшаяся у нее еще в детстве, снова появилась теперь. В письмах, помеченных августом, говорилось об этом. «Ты не можешь представить себе, в каком я состоянии. Больше всего меня мучает то, что это фантастическое видение неизменно стоит передо мной. Я вижу, как судороги сводят твои члены в припадке болезни; я вижу, как твое лицо меняется и бледнеет и глаза глядят с отчаянием из-под красных от слез век. Я вижу весь ужас твоей болезни, как будто нахожусь вблизи тебя, и, несмотря на все мои усилия, мне не удается отогнать ужасное видение. И я слышу, как ты зовешь меня. Твой голос звучит в моих ушах жалобно и глухо, точно ты зовешь на помощь и не надеешься на нее». А через три дня: «Мне стоит страшного труда писать эти строки. Мне хотелось бы безмолвно и неподвижно сидеть где-нибудь в темном углу, думая, воспроизводя мысленно твой образ и страдания и созерцая тебя. Я испытываю какое-то непонятное влечение к этим страданиям и сам их призываю. О, мой бедный, дорогой друг! Я так грустен, что хотел бы надолго забыться и потом проснуться, не помня ничего и перестав страдать. Мне хотелось бы чувствовать по крайней мере сильную физическую боль от раны, язвы или сильного ожога, которая облегчила бы мои нравственные страдания. Боже мой! Я вижу твои бледные скрюченные руки, а пальцы крепко сжимают прядку вырванных волос»...

Письма становились все нежнее и мягче к выздоравливающей. «Посылаю тебе цветок, сорванный на песке. Это род дикой лилии; он красив на стебле и благоухает так сильно, что я часто нахожу в его чашечке задохнувшееся от сильного запаха насекомое. Весь берег усеян этими страстными лилиями, которые распускаются в несколько часов под палящими лучами солнца на горячем песке. Погляди, как прекрасен этот цветок даже в сухом виде. Сколько в нем женственности и благородства». И далее! «Проснувшись сегодня утром, я поглядел на свое обожженное солнцем тело. По всему телу шелушилась кожа, но главным образом на плече, на том месте, где покоилась обыкновенно твоя голова. Я стал тихонько отрывать пальцами верхний, омертвевший слой кожи и думал, что он носит еще, может быть, отпечаток твоей щеки или твоих губ! Я сбрасывал кожу, как змея. Сколько страстных минут она пережила!» В другом письме стояло: «Я пишу тебе опять в постели. Лихорадка прошла, оставив мне сильную невралгию левого глаза. Я чувствую себя очень слабым, потому что три дня ничего не ел. Я все думаю и думаю, лежа в постели с болью в голове. Иногда безо всякой видимой причины сомнения начинают мучить меня, и я вынужден делать страшные усилия, чтобы отогнать от себя дурные мысли.

Вчера я тоже целый день думал о тебе. Старшая сестра Христина сидела у моей постели и нежно вытирала мне лоб. Я закрыл глаза, воображая, что это ты ласкаешь меня. Эта мысль доставляла мне большое облегчение, и я с улыбкой благодарности глядел на сестру. Это воображаемое смешение твоей и ее ласки казалось мне весьма чистым и возвышенным. Я не могу объяснить словами всю нежность и идеальную возвышенность этого чувства. Но ты понима-

ешь меня. Прощай». В другом письме стояло: «Вчера утром между одиннадцатью и часом я серьезно думал о своем конце. Знакомый мне дух бедного дяди Димитрия уже несколько дней беспокоил меня. Вчера мне было так невыносимо тяжело, что картина избавления от страданий внезапно предстала перед моими глазами. Кризис скоро прошел, и сегодня я даже со смехом вспоминаю о нем, но вчера у меня был очень оживленный разговор со смертью».

В письмах из Рима, куда Джорджио вернулся в первых числах ноября ожидать возвращения Ипполиты, неясно указывалось на какое-то печальное происшествие: «Ты пишешь: „Мне стоило огромного труда остаться верной тебе“. Что ты хочешь сказать этим? Что произошло такого ужасного, что взволновало тебя? Боже мой, как ты изменилась! Я невыразимо страдаю, и моя гордость возмущается против страданий. Глубокая, как шрам, складка залегла у меня на лбу между бровями. В ней кроются тяжелые подозрения, сдержанный гнев и сомнения. Я думаю, что даже твоего поцелуя было бы недостаточно, чтобы разгладить эту складку. Твои письма, выражающие стремление ко мне, волнуют меня. Я не чувствую к тебе благодарности за них. За последние два или три дня что-то зародилось против тебя в моем сердце. Я не знаю, что такое. Может быть, предчувствие? Может быть, откровение?»

Чтение мучило Джорджио, точно старая рана открылась внутри его. Ипполита попросила помешать ему продолжать чтение. Она вспомнила тот вечер, когда ее муж внезапно явился на дачу в Коронно с бесстрастной и спокойной осанкой, но со взглядом сумасшедшего, объявив, что приехал за ней. Ей представился тот момент, когда она осталась с ним наедине в отдаленной комнате, а ветер рвал занавески у окна, пламя свечи сильно колебалось, и в саду бушевала буря. Она вспомнила дикую и безмолвную борьбу с этим человеком, неожиданным движением обнявшим ее и, о ужас, хотевшим овладеть ею.

– Довольно, довольно, Джорджио, – сказала она, притягивая к себе голову друга. – Не будем больше читать.

Но Джорджио хотел непременно продолжать чтение. «Я до сих пор не могу объяснить возвращение этого человека и отделаться от раздражения, направленного отчасти и против тебя. Чтобы не мучить тебя, я не выскажу своего мнения по этому поводу. Оно крайне резко и обидно для тебя. Я чувствую, что на некоторое время моя нежность отравлена, и полагаю, что лучше тебе не видеть меня теперь. Потому не возвращайся пока, чтобы избежать для себя бесполезных страданий. Я не добр теперь. Моя душа любит тебя и преклоняется перед тобой, а мысли чернят и оскверняют тебя. Эта борьба постоянно возобновляется, и, должно быть, никогда не будет ей конца!» На следующий день он писал: «Я испытываю ужасные, невыносимые, неслыханные мучения... О Ипполита, возвращайся, возвращайся! Я хочу говорить с тобой, видеть и ласкать тебя; я люблю тебя, как никогда прежде. Только не показывай мне следов борьбы на твоём теле. Я не могу думать о них без ужаса и злобы. Мне кажется, что сердце разорвалось бы у меня, если бы я увидел твое тело, запятнанное этими руками. Это ужасно, ужасно!»

– Довольно, Джорджио, не будем больше читать, – снова попросила Ипполита с мольбой в голосе и, обняв ладонями голову возлюбленного, поцеловала его в глаза. – Джорджио, прошу тебя.

Ей удалось оттащить его от стола. Он улыбался, послушно следуя за ней, улыбался непонятной улыбкой больного человека, который подчиняется чужой воле, прекрасно сознавая в душе, что уже поздно и лекарство не окажет своего действия.

7

В пятницу вечером, на Страстной неделе, они уехали обратно в Рим.

В пять часов, перед отъездом, они сели пить чай. Оба молчали. Простая жизнь в этой гостинице показалась им в последний момент прекрасной и завидной, а тишина и спокойствие

уютных, просто обставленных комнат стали еще приятнее и заметнее. Окружающая местность, бывшая свидетельница их меланхолической любви, являлась им теперь в идеальном свете. Еще один отрывок их любви и жизни падал в пропасть времени и исчезал. Джорджио сказал:

– Вот и это прошло. А Ипполита ответила:

– Как мне быть? Мне кажется, что я не могу теперь спать иначе, как на твоём плече.

Они взглянули друг другу в глаза. Оба волновались и чувствовали, что волнение сдавливает им горло. Наступила тишина, нарушавшаяся только стуком мостивших улицу рабочих. Этот шум раздражал их и делал еще тягостнее их настроение.

– Это невыносимо, – сказал Джорджио, вставая. Мерный стук усиливал в нём сознание быстрого течения времени, и без того ясно ощущаемого, и возбуждал в нём какую-то смутную тревогу и ужас, подобно тому как он бывало испытывал, прислушиваясь к колебаниям маятника. Однако в предыдущие дни этот же стук действовал успокоительно и даже убаюкивал его. «Мы расстанемся через два-три часа, думал он. – Я буду вести свою обыденную жизнь, сотканную из мелких житейских неприятностей, и прежняя болезнь неминуемо вернется ко мне. Я знаю, как действует на меня весна, и буду страдать без передышки. Я вперед знаю, что одним из самых злобных мучителей будет мысль, возбужденная на днях в моем уме словами этого Экзили. Могла бы Ипполита исцелить меня, если бы хотела? Вероятно, да; по крайней мере, отчасти. Почему бы ей не уехать со мной в какое-нибудь уединенное место не на одну неделю, а на долгое время? Она очаровательна в интимной жизни и полна заботливости и нежной грации. Много раз она казалась мне сестрой или подругой, любящей меня как сестра, *gravis dum suavis*, созданием моих мечтаний. Может быть, ей удалось бы вылечить меня неустанными заботами или, по крайней мере, облегчить мне жизнь...»

Он остановился перед Ипполитой и, взяв ее руки в свои, спросил взволнованным и вкрадчивым голосом:

– Ответь мне: была ли ты счастлива в эти дни?

– Так, как никогда, – ответила Ипполита.

Ее слова звучали так искренне, что Джорджио крепко сжал ее руки.

– А можешь ли ты продолжать свою прежнюю жизнь?

– Не знаю, – ответила Ипполита, – я ничего не вижу впереди. Ты знаешь, что все рушилось.

Она опустила глаза, Джорджио страстным порывом заключил ее в свои объятия.

– Ты любишь меня, не правда ли? Я – единственная цель твоего существования. Ты видишь в будущем только меня?

Она ответила с неожиданной улыбкой, заставившей ее поднять длинные ресницы:

– Ты знаешь, что это так.

И тихим голосом он сказал, наклоня лицо над ее грудью:

– Ты знаешь, чем я страдаю.

Она, казалось, отгадала мысль друга и спросила чуть не шепотом, точно хотела еще сузить своим тихим голосом тот круг, в котором они дышали и трепетали:

– Что мне сделать, чтобы исцелить тебя?

Они молча сидели, обнявшись, но мысль их работала над разрешением одного и того же вопроса.

– Уедем вместе! – прервал молчание Джорджио. – Отправимся в незнакомое место, пробудем там весну, лето, одним словом, сколько возможно... И ты исцелишь меня.

Она без малейшего колебания ответила:

– Бери меня, я – твоя.

Они успокоились и, выпустив друг друга из объятий, стали укладывать последний чемодан.

– Погляди, – сказала Ипполита, показывая Джорджию карточку. – Это билет из Сеньи-Палиано. Я сохраню его.

Панкратио постучался в дверь. Он принес Джорджию уплаченный счет и, тронутый щедростью синьора, рассыпался в благодарностях и пожеланиях. Перед уходом он даже вынул из кармана две визитных карточки и подал их господам «на память о своем скромном имени», извиняясь за свою смелость. Когда он вышел из комнаты, «молодые супруги» расхохотались. На карточках вычурными буквами было написано: «Панкратио Петрелла».

– Я это тоже сохраню, – сказала Ипполита.

Панкратио снова постучался в дверь, неся в подарок синьоре четыре или пять великолепных апельсинов. Его глаза блестели на красном лице.

– Пора спускаться вниз, – предупредил он.

Когда они шли по лестнице, их сердце сжималось от чувства грусти и какого-то неясного страха, точно, покидая это мирное убежище, они шли навстречу мрачной опасности. Старый хозяин гостиницы попрощался с ними у двери и сказал тоном сожаления:

– А у меня приготовлены на сегодняшний вечер превкусные жаворонки.

Джорджио ответил сдавленным голосом:

– Мы скоро вернемся, скоро вернемся.

Когда они ехали на вокзал, огненно-красное солнце садилось за морем в тумане, за крайними пределами равнины. В Чеккине накрапывал дождь. А когда они расстались по приезде в Рим в пятницу вечером, на Страстной неделе, то им казалось, что в этом сыром и туманном городе можно только умереть.

II. Родной дом

1

В последних числах апреля Ипполита уехала в Милан по приглашению сестры, у которой только что умерла свекровь. Джорджио собирался поехать искать укромный уголок, где они должны были встретиться в половине мая.

Но как раз в эти дни пришло письмо от его матери с печальными известиями, и он не мог более откладывать своего возвращения в отцовский дом.

Джорджио был в крайне возбужденном состоянии. Напряженные нервы не позволяли ему верить в обещанное счастье и будущее спокойствие. Когда Ипполита прощалась с ним, он спросил:

– Увидимся ли мы еще?

А когда она, стоя на пороге комнаты, поцеловала его последний раз, он заметил, что ее губы покрывала черная вуаль, и это значительное обстоятельство сильно взволновало его и разрослось в его воображении в роковое предзнаменование.

По приезде в отцовский дом в Гуардиагреде – его родной город – он был до того измучен, что, обнимая мать, расплакался, как ребенок. Но ни эти слезы, ни поцелуи матери не дали ему утешения. Ему казалось, что он чужой в этом доме и что окружавшая его семья – не родная ему. Это странное чувство отчужденности, которое он испытывал и прежде по отношению к своим кровным родственникам, стало теперь проявляться резче и назойливее. Многие мелочи семейной жизни раздражали и оскорбляли его. Тишина за обедом и ужином, нарушаемая только стуком вилок, действовала ему на нервы. Его утонченные привычки ежеминутно подвергались грубому нарушению, а дух раздора, вражды и воинственности, царивший в доме, часто сдавливал ему дыхание.

В первый же вечер по его приезде мать отозвала его в сторону и стала рассказывать свои огорчения, неприятности и беспокойства, а также выходки и оскорбления со стороны мужа. Глядя на сына полными слез глазами, она произнесла дрожащим от гнева голосом:

– Твой отец – гадкий человек!

Ее веки покраснели и вспухли от постоянных слез, щеки впали, и вся ее внешность носила отпечаток долгих страданий.

– Он – гадкий человек! Он – гадкий человек!

Когда Джорджио поднялся наверх в свои комнаты, голос матери продолжал звучать в его ушах и ее фигура не выходила из его головы. Он повторял одно за другим ужасные обвинения против человека, кровь которого текла в его жилах, и ему было так тяжело на душе, что, казалось, он не мог дольше жить. Но внезапно охватившее его безумное стремление к далекой возлюбленной заставило его встрепенуться, и он почувствовал, что вовсе не благодарен матери за то, что она открыла ему свои бесчисленные горести, и он предпочел бы не знать их, думая только о своей любви и страдая только из-за нее.

Войдя в свою комнату, он запер за собой дверь. Стекланный балкон был залит светом майской луны. Он открыл ставни, испытывая потребность подышать ночным воздухом, и, опершись на перила балкона, стал вдыхать в себя ночную свежесть. Полнейшая тишина царила внизу в долине, и простые очертания снежных вершин Маниеллы торжественно вырезались на темном фоне неба. Гуардиагреде спал, подобно белому стаду, расположившись кругом Санта Мария Маджоре. Одно только окно в соседнем доме было освещено желтым светом.

Он забыл о своей недавней ране. Красота ночи внушала ему только одну мысль: «Вот потерянная для счастья ночь!»

Он стал прислушиваться. В соседней конюшне слышался топот лошадей и слабый звон колокольчиков. На фоне освещенного окна мелькали какие-то тени, должно быть, ходивших по комнате людей. В дверь легонько постучались. Он пошел открыть.

Это была тетя Джиоконда.

– Ты забыл меня? – сказала она, входя и обнимая его.

Не видя ее по приезде в дом, Джорджио действительно забыл про нее и извинился теперь, взяв ее за руку и усадив на стул, ласковым голосом стал разговаривать с ней.

Это была старшая сестра его отца. Ей было шестьдесят лет; она хромала из-за ушиба ноги и была немного полна, но полнота ее была болезненная, дряблая и бескровная. Она жила, углубившись в религию, в отдаленной комнате верхнего этажа, почти отдельно от остальной семьи, которая не любила ее и, считая ее не в своем уме, относилась к ней пренебрежительно. Ее мир состоял из священных соображений, эмблем, образов, и все ее время уходило на исполнение религиозных обрядов и на чтение однообразных, усыпляющих молитв.

Единственное, что заставляло ее сильно страдать, это чрезмерное пристрастие к лакомствам. Она чувствовала отвращение ко всякой другой пище, а в сладостях у нее часто бывал недостаток. Она любила Джорджио больше всех остальных родственников за то, что он каждый раз привозил ей конфеты и ликер.

– Итак, ты вернулся, – говорила она, шевеля своими беззубыми челюстями, – ты вернулся...

Она глядела на него немного стыдливо, не зная, что сказать, но в глазах ее ясно выражалось ожидание. И, несмотря на отвращение, которое ее дыхание вызывало в Джорджио, его сердце болезненно сжималось от сострадания.

«Это несчастное создание, дошедшее до низшей ступени унижения, – думал он. – Эта жадная заика связана со мной узами крови. Она принадлежит к моей расе!»

– Итак, – повторяла она, видимо волнуясь, и выражение ее глаз делалось почти нахальным.

– О тетя Джиоконда, прости меня, – сказал наконец Джорджио с некоторым усилием. – Я забыл на этот раз привезти тебе сладостей.

Старуха изменилась в лице, точно ей сделалось дурно; ее взор потух, и она прошептала:

– Это ничего...

– Но я завтра куплю тебе конфет, – добавил Джорджио с тяжелым сердцем, желая утешить ее. – Завтра же непременно, а потом я напишу...

Старуха оживилась и сказала с большой заботливостью:

– Знаешь, в монастыре... ты найдешь сласти.

Несколько минут она молчала, очевидно, предвкушая удовольствие завтрашнего дня; ее беззубый рот шевелился, точно она глотала накопившуюся слюну. Затем она продолжала:

– Бедный Джорджио! Что бы я делала, если бы у меня не было Джорджио. Посмотри, что творится в этом доме. Это божеское наказание. Поди-ка, погляди на цветы на балконе. Я сама всегда поливала их. Я всегда думаю о тебе, Джорджио. Прежде у меня был Димитрий, а теперь остался только ты один.

Она встала, взяла племянника за руку и, проведя его на балкон, показала ему цветущие горшки; затем она сорвала ветку с бергамотового дерева, подала ее Джорджио и, нагнувшись посмотреть, не высохла ли земля, сказала:

– Подожди.

– Куда ты идешь, тетя Джиоконда?

– Подожди.

Она, хромя, вышла из комнаты и вскоре вернулась, неся с трудом полное ведро.

– Зачем ты делаешь это, тетя? Зачем ты утруждаешь себя?

– Земля высохла. Если я не подумаю об этом, то кто же другой подумает?

Она полила цветы, сильно пыхтя, и хриплое дыхание ее старческой груди резало душу молодого человека.

– Довольно, – сказал он, беря у нее из рук ведро.

Они продолжали стоять на балконе; вода из цветочных горшков с легким шумом капала на улицу.

– Чье это освещенное окно? – спросил Джорджио, чтобы нарушить молчание.

– О, это дон Дефенденте Шиоли умирает, – ответила старуха.

Они поглядели на тени, скользившие по освещенному желтым светом прямоугольнику. Свежий ночной воздух подействовал на старуху, и она задрожала от холода.

– Ступай, ступай спать, тетя Джооконда.

Он пошел провожать ее наверх в ее комнату. В коридоре им встретилось что-то, с трудом тащившееся по каменному полу. Это была черепаха.

– Она сверстница тебе, – сказала старуха, останавливаясь. – Ей двадцать пять лет. Она хромает, как я. Твой отец ударил ее раз как-то ногой...

Он вспомнил о голубе с выщипанными перьями, о тете Джоованне и о нескольких моментах жизни в Альбано.

Они дошли до порога двери. В комнате стоял отвратительный запах лекарств и жилья. При свете лампы Джорджио увидел стены, покрытые священными изображениями и распятиями, сломанную ширму и кресло с вылезавшими из материи железными прутьями и волосом.

– Хочешь войти?

– Нет, благодарю, тетя Джооконда, ступай спать.

Она торопливо вошла в комнату и сейчас же вернулась с бумажной коробкой, которую открыла перед Джорджио, высыпая остатки сахара на ладонь руки.

– Видишь? Это все, что у меня есть.

– Завтра, завтра, тетя... ступай теперь спать. Спокойной ночи.

Он ушел, не будучи более в состоянии терпеть. Его тошнило от этого запаха, и сердце его ныло. Он снова вышел на балкон.

Полная луна сияла на небе над его головой. Ледяные неподвижные вершины Майеллы напоминали горы на луне, рассматриваемые в хороший телескоп. Гуардиагреде спокойно спал внизу; бергамотовые деревья благоухали.

– Ипполита, Ипполита! – Все его существо стремилось к возлюбленной в этот час душевной тоски, взывая о помощи. – Ипполита!

Внезапный крик из освещенного окна нарушил ночную тишину; это был крик женщины. За ним последовали другие крики, потом непрерывные рыдания, звучавшие то тише, то громче, подобно мерному пению. Агония кончилась, и душа человека улетала в убийственной тишине ночи.

2

– Ты должен помочь мне, – говорила мать, – ты должен поговорить с ним. Пусть он знает твое мнение. Ты – старший сын в семье. Это необходимо, Джорджио.

И она продолжала рассказывать ему о поведении мужа и разблачала перед сыном постыдные поступки отца. У отца была сожигательница – парикмахерша, служившая прежде в их семье, падшая, страшно жадная женщина; из-за нее и своих незаконных детей он разбрасывал без всякого удержу свое состояние, запуская дела и полевое хозяйство и продавая весь урожай по низкой цене первому встречному, только бы получить деньги. Он доходил даже до того, что семье не хватало подчас на необходимое, и отказывался дать приданое младшей

дочери, которая уже давно была невестой, а на малейшие упреки отвечал криками, бранью и ужаснейшей грубостью.

– Ты живешь далеко и не знаешь, какой у нас тут ад. Ты не можешь представить себе малейшей доли наших страданий... Но ты ведь старший сын и должен поговорить с ним. Это необходимо, Джорджио, прямо необходимо.

Джорджио сидел молча, с опущенными глазами, делая нечеловеческие усилия, чтобы сдержать свои расшатанные нервы при виде страданий матери, которые он впервые увидел теперь во всей их наготе. Так это была его мать? Этот искривленный рот, резко менявшийся при произнесении жестоких слов, принадлежал его матери? Значит, страдания и гнев так сильно изменили ее? Он поднял глаза, чтобы поглядеть на нее и отыскать на ее лице следы прежней мягкости. Как прелестна она была прежде. Какое это было чудное и нежное создание и как нежно он любил ее в детском и отроческом возрасте! Донна Сильверия была высокая, стройная женщина с белоснежной кожей, почти светлыми волосами и темными глазами, и вся ее внешность носила отпечаток благородства, так как она происходила из рода Спина; а герб этих двух родов – Спина и Ауриспа – был высечен под портиком Санта Мария Маджиоре. Какое это было нежное создание прежде! И почему она так изменилась? Ее нервные жесты, резкие слова и изменявшаяся в пылу гнева внешность производили на сына тяжелое впечатление. Ему было ужасно тяжело слышать о позоре отца и видеть глубокую пропасть, образовавшуюся между людьми, которым он был обязан своим существованием. И что это было за существование!

– Ты слышишь, Джорджио? – настаивала она. – Ты должен непременно взяться за это энергично. Когда ты поговоришь с ним? Решай.

Эти слова поразили его до глубины души; он повторял мысленно: «О, мама, требуй от меня самой ужасной жертвы, но избавь от этого шага, не толкай на этот смелый поступок! Я – низкий человек!» Непобедимое отвращение пробуждалось в нем при мысли, что он должен будет явиться перед отцом и совершить энергичный и решительный поступок. Он предпочел бы, кажется, дать отрубить себе руку.

– Хорошо, мама, – ответил он сдавленным голосом. – Я выберу удачный момент и поговорю с отцом.

Он обнял мать и поцеловал ее в обе щеки, точно молчаливо просил у нее прощения за обман, уверяя себя мысленно: «Я никогда не выберу удачного момента и не буду говорить с отцом».

Они продолжали сидеть у окна. Мать открыла ставни и сказала:

– Скоро вынесут дону Дефенденте Шиоли.

Они встали рядом, чтобы поглядеть в окно. Она добавила, поднимая голову кверху:

– Какой сегодня чудный день!

Гуардиагреле, каменный город, был залит ярким светом майского дня. Свежий ветерок шелестел травой на кровлях. Все щели у Санта Мария Маджиоре от основания до верху поросли нежными растениями с бесчисленным множеством лиловых цветов, и старинный собор отчетливо вырезался на воздушной лазури, покрытый мраморными и живыми цветами.

«Я больше никогда не увижу Ипполиты, – думал Джорджио. – Это какое-то роковое предчувствие. Я знаю, что через пять-шесть дней отправлюсь искать отшельническую обитель для нас, и знаю в то же время, что это будет бесполезно; я ничего не достигну и наткнусь только на непредвиденные препятствия. Что-то странное и непонятное происходит во мне. Я сам не знаю, но кто-то другой внутри меня знает, что скоро все кончится. Она не пишет мне. С тех пор, как я здесь, она прислала мне только две коротеньких телеграммы – из Палланцы и из Белладжио. Никогда еще она не казалась мне столь далекой. Может быть, в этот самый момент ей нравится кто-нибудь другой. Может ли любовь внезапно исчезнуть из сердца женщины? Да, все возможно во внутреннем мире человека. Ее сердце утомилось. Может быть, в Альбано

под впечатлением воспоминаний она отдавала мне остатки своей любви, а я был ослеплен ею! Некоторые факты, если рассматривать их по существу, заключают в себе определенное скрытое значение независимо от их внешнего содержания. И когда я мысленно перебираю факты, из которых состояла наша жизнь в Альбано, то они приобретают в моих глазах вполне определенный смысл – они обозначают конец. Когда мы расстались по приезду в Рим в пятницу на Страстной неделе и ее экипаж исчез в тумане, разве мне не казалось, что я безвозвратно потерял ее? Разве я не сознавал вполне ясно конца нашей любви?» В его воображении мелькнуло движение руки Ипполиты, опускавшей черную вуаль над последним поцелуем. Солнце, лазурь, цветы и вообще все светлое и радостное кругом него внушало ему одну только мысль: «Жизнь без нее невозможна!»

– Выходят, – послышались в этот момент слова матери, высунувшейся из окна и глядевшей на двери собора.

– Бедный дон Дефенденте! – прошептала она, глядя вслед удалявшемуся шествию, но сейчас же добавила усталым голосом, точно говорила сама с собой:

– А, впрочем, почему бедный? Он наслаждается миром, а мы продолжаем страдать.

Сын поглядел на нее. Их глаза встретились, и она улыбнулась ему слабой, еле заметной улыбкой, не изменившей ни одной черты ее лица. Эта улыбка произвела на Джорджио впечатление легкой, еле заметной тени, мелькнувшей перед ее неизменно печальным лицом, и озарила его внезапно ярким светом: он теперь только увидел неизгладимые следы страданий на лице матери.

Бурный порыв нежности зародился в его груди вследствие ужасного откровения, вызванного этой улыбкой. Мать, его родная мать, могла улыбаться только такой улыбкой! Следы страданий были неизгладимы на ее добром, дорогом лице, которое столько раз наклонялось над ним во время болезни и огорчений! Его родная мать тихо угасала с каждым днем и неизменно склонялась все ниже к могиле. Он же, когда мать рассказывала ему о своих огорчениях, страдал не за нее, а из-за своего собственного эгоизма и тяжелого впечатления, производимого резкими выражениями матери на его больные нервы.

– О мама, – прошептал он сдавленным от слез голосом, беря ее за руки и увлекая за собой в глубь комнаты.

– Что с тобой, Джорджио? Что с тобой, сын мой? – взволнованно спрашивала мать, глядя на его мокрое от слез лицо. – Скажи мне, что с тобой?

О, это был ее дорогой, незабвенный голос, трогавший его до глубины души. Это был голос утешения, совета, прощения, высшей доброты, который он слышал в тяжелые минуты; это был знакомый ему голос, Джорджио узнал, наконец, нежное, обожаемое создание прежних времен.

– О мама, мама...

Он сжимал ее в своих объятиях, рыдая, обливая ее горячими слезами и порывисто целуя ее щеки, лоб и глаза.

– Бедная моя мама!

Он усадил ее, встал перед нею на колени и долго глядел на нее, точно видел ее теперь в первый раз после долгой разлуки. Она спросила искривленными губами, с трудом сдерживая рыдания, сдавливавшие ей горло:

– Я очень огорчила тебя?

Он прислонился головой к ее коленям и стал понемногу успокаиваться под ласками матери. Рыдания иногда заставляли его вздрагивать. В его уме мелькали неясные воспоминания об огорчениях отроческого возраста. С улицы доносилось щебетанье ласточек, скрип колеса точильщика и крики людей; эти звуки были знакомы ему, но теперь они раздражали его. По окончании кризиса в нем наступило состояние какого-то неопределенного брожения,

но явившийся внезапно в его уме образ Ипполиты так бурно взволновал его внутренний мир, что он глубоко вздохнул на коленях матери.

Она прошептала, нагибаясь над ним:

– Как ты вздохнул!

Он улыбнулся ей, не открывая глаз и чувствуя полный упадок сил, страшную усталость и непреодолимую потребность отступить с поля битвы, не ожидая перемирия.

Желание жить понемногу оставляло его, подобно тому, как теплота исчезает из мертвого тела. От недавнего волнения не осталось ничего; мать снова делалась чужой для него, что он мог сделать для нее? Спасти ее? Вернуть ей спокойствие, здоровье, счастье? Разве катастрофа не была неизбежна? Разве ее существование не было отравлено навсегда? Мать не могла больше служить ему утешением, как во времена далекого детства. Она не могла понять и исцелить его. Склад их ума и образ жизни были слишком различны. Она могла только показать ему картину своих страданий.

Джиорджио встал и поцеловал мать. Они расстались. Он пошел в свои комнаты и вышел на балкон. Высокие горы Маиеллы на зеленоватом фоне неба были залиты розовым светом заката. Оглушающее щебетанье кружившихся в воздухе ласточек неприятно подействовало на него, и он пошел и растянулся на кровати.

«Вот я живу и дышу, – думал он. – А в чем состоит сущность моей жизни? От каких сил она зависит? Какими законами она управляется? Я не владею собой, подобно человеку, который обречен стоять на вечно колеблющейся и качающейся плоскости и теряет равновесие, куда бы он ни поставил ногу. Я всегда нахожусь в тревожном состоянии, но и это состояние неопределенно. Я не понимаю, что это за тревога: беглеца, которого преследуют по пятам, или преследователя, который никак не может настигнуть беглеца. Может быть, это и то, и другое».

В Санта Мария Маджоре прозвонили к вечерне. Он вспомнил похоронное шествие, гроб, монахов в капюшонах и маленьких оборванцев, с трудом собиравших восковые слезы и шедших, немного нагнувшись, неровными шагами, с устремленными на колеблющееся пламя глазами.

Эти дети долго не выходили у него из памяти. В письме к своей возлюбленной он развил скрытую аллегорию, которую его ум, искавший сравнений, увидел в этом событии: «Один из мальчиков, худенький и мертвенно-бледный, опирался одной рукой на костыль, а в ладонь другой руки собирал капавший воск; он с трудом двигался вперед рядом с великаном в капюшоне, грубо сжимавшим свечу в огромном кулаке. Я как сейчас вижу их перед собой и никогда не забуду их. Во мне есть какое-то сходство с этим мальчиком. Моя настоящая жизнь находится во власти какого-то таинственного, невидимого существа, сжимающего ее в железном кулаке, и я вижу, как она разрушается, и с трудом подвигаясь вперед, выбиваясь из сил, чтобы подобрать хоть малейшую долю ее. И каждая капля жжет мою бедную руку».

3

На обеденном столе в вазе красовался букет свежих майских роз из сада, набранных Камиллой, младшей сестрой Джиорджио. За столом сидели мать, брат Диего и приглашенные на этот день жених Камиллы и старшая сестра Христина с мужем и бледным белокурым ребенком, нежным и стройным, как полураспустившаяся лилия.

Джиорджио сидел между отцом и матерью.

Муж Христины, барон Паллеауреа дон Бартоломео Челаиа, с раздражением в голосе рассказывал о городских интригах. Ему было под пятьдесят лет. Это был человек с плешью на макушке головы и с чисто выбритым лицом. Его резкие движения и почти нахальные манеры составляли странный контраст с его клерикальной внешностью.

Диего сидел рядом с сестрой. «Как они не похожи между собой! – думал Джорджио, приглядываясь к брату. – Христина в значительной степени наследовала от матери мягкость характера; у нее глаза матери; особенно же она напоминает ее манерами. Но Диего!» – Он глядел на брата с инстинктивным отвращением человека, который видит полную противоположность себе. Диего ел с жадностью, не отрывая глаз от тарелки и углубившись в свое дело. Ему не было еще двадцати лет, но он уже начал полнеть; это был коренастый человек с вспыльчивым характером. В его маленьких сероватых глазах под низким лбом не заметно было и малейшего проблеска ума. Рыжий пушок покрывал его щеки и сильные челюсти и оттенял пухлые чувственные губы. Такой же пушок виднелся на руках с грязными ногтями, свидетельствовавшими о пренебрежительном его отношении к опрятности.

«Какой это грубый человек, – думал Джорджио. – Как странно, что я всегда должен побороть отвращение, чтобы обратиться к нему с самыми незначительными словами или ответить на его простое приветствие. В разговоре со мной он никогда не глядит мне в глаза. Когда наши взгляды случайно встречаются, он моментально отводит свой взгляд в сторону. В моем присутствии он постоянно краснеет без всякой причины. Мне крайне любопытно знать, что он чувствует ко мне. Несомненно, что он не любит меня».

Вслед за тем его мысли и внимание перешли на отца; Диего был истинный наследник его.

Тело этого полного и сильного человека, казалось, непрестанно испускало жизненную теплоту. Его челюсти были в высшей степени развиты; пухлые, повелительные губы дышали вспыльчивостью. Глаза были мутны и немного косили; крупный, красный нос как-то странно подергивался, и все черты его лица носили отпечаток вспыльчивости и резкости. В каждом его жесте, в каждом движении выражалось усилие, точно мускулатура этого крупного тела постоянно боролась с обременявшим ее жиром. Его плоть, отвратительная плоть, полная вен, нервов, жил, желез, костей, полная низменных инстинктов и потребностей, плоть, которая потеет и издает скверный запах, делается безобразной, болеет, покрывается ранами, мозолями, морщинами, нарывами, волосами, эта отвратительная плоть с каким-то нахальством процветала в этом человеке, вызывая чуть не отвращение в чувствительной душе его соседа. «Он не был таким десять – пятнадцать лет тому назад, – думал Джорджио. – Я хорошо помню, что он не был таким. Мне кажется, что эта скрытая грубая чувственность развивалась в нем очень постепенно. И я, я – сын этого человека!»

Он поглядел на отца и заметил на его висках по пучку морщин, а под каждым глазом опухоль, напоминавшую какой-то лиловый мешок. Он обратил внимание на красную, толстую, короткую, апоплексическую шею отца и заметил, что усы и волосы его носили следы краски. Возраст, приближение дряхлости в чувственном существе, беспощадная работа порока и времени, напрасные старания скрыть старческую седину, возможность внезапной смерти, все эти печальные и ужасные, низменные и трагические впечатления глубоко взволновали сердце Джорджио. Он почувствовал к отцу искреннее сострадание. «Как я могу осуждать его? Он ведь тоже страдает. В этой тяжелой плоти, внушающей мне такое сильное отвращение, обитает живая душа. Почему знать, как она мучается и терзается. У отца несомненно безумный страх перед смертью». И внезапно его воображение нарисовало картину смерти отца: он падает на землю, точно сраженный молнией, безмолвно вздрагивает в агонии, судороги сводят его члены, лицо бледно, а в глазах отражается весь ужас смерти, и внезапно тело его делается неподвижным, точно под новым ударом невидимого молота. Стала бы мама оплакивать его или нет?

– Ты ничего не ешь, – сказала ему мать, – ты почти ни до чего не дотрагиваешься. Может быть, ты плохо себя чувствуешь?

– Нет, мама, – ответил он. – Я просто не голоден сегодня. Рядом с ним послышался шорох. Он обернулся и увидел хромую черепаху. Ему вспомнились слова тети Джоконы: «Она хромает, как я. Твой отец ударил ее раз как-то ногой...»

Мать заметила, что он глядит на черепаху, и сказала с тенью улыбки на губах:

– Она тебе сверстница. Я ждала тебя, когда мне принесли ее.

И добавила, продолжая улыбаться:

– Она была совсем крошечная, и спинка ее была почти прозрачная. Она выглядела совсем как игрушечная, а затем постепенно выросла у нас в доме.

Донна Сильверия взяла кожуру яблока и подала ее черепахе. С минуту она глядела, как бедное животное, дрожа от старости, двигало своей желтоватой головой, потом принялась с задумчивым видом чистить апельсин для Джорджио.

«Она занята своими воспоминаниями, – думал Джорджио, глядя на мать. Он понимал, какая безутешная грусть должна была возникнуть в душе матери при воспоминании о прошедших счастливых днях, теперь, когда все рушилось и было кончено, после стольких неизгладимых оскорблений и измен. – Он любил ее тогда. Она была молода и, может быть, не знала еще страданий. Как она, должно быть, вздыхает о прошедшем счастье! Какая отчаянная тоска раздирает ее сердце! – Джорджио страдал за мать, с такой силой воспроизводя в своем сердце ее душевную тоску, что его глаза затуманились слезами и он с трудом сдержал их. – О бедная мама, если бы ты знала!»

Он повернул голову и увидел, что Христина улыбалась ему из-за букета роз.

Жених Камиллы разговаривал с бароном.

– Это показывает полное незнание закона, – говорил он. – Когда человек претендует на...

Барон относился одобрително к горячим словам молодого юриста и повторял после каждой его фразы:

– Конечно, конечно...

Они разбирали по косточкам городского голову.

Молодой Альберто сидел рядом со своей невестой Камиллой. Его лицо было бело и розово, как у восковой фигуры; он носил остренькую бородку, его волосы были расчесаны на пробор, на лбу красовалось несколько аккуратных завитков, а на носу – пара очков в золотой оправе.

«Это идеал Камиллы, – подумал Джорджио. – Они уже давно любят друг друга несокрушимой любовью и верят в свое будущее счастье. Они давно вздыхают друг по другу. Альберто прогуливался с этим бедным созданием под руку по всем идиллическим местам. У Камиллы – большая фантазия; она только и делает, что доверяет роялю тайны своей души, разыгрывая на нем бесконечные ноктюрны. Они поженятся, и какова-то будет их судьба? Тщеславный и пустой молодой человек с сентиментальной девушкой в неинтересной провинциальной среде...» Его воображение развивало картину будущей жизни этих двух существ; он взглянул на сестру и почувствовал к ней сострадание.

Она немного походила на него внешне. Это была высокая, стройная девушка с чудными каштановыми волосами и светлыми, постоянно меняющимися цвет глазами: они были то зеленые, то голубые, то серые. Легкий слой пудры делал ее в этот день бледнее обыкновенного. На груди ее были приколоты две розы.

«Может быть, она не только физически похожа на меня, и ее бессознательный ум содержит роковые зародыши, которые дали в моем уме, при сознательном отношении, такие большие ростки. Душа ее, вероятно, полна тревоги и печали. Она больна и не понимает, что это за болезнь».

Мать встала в этот момент. Остальные последовали ее примеру; только отец и дон Бартоломео Челаиа остались курить за столом. В этот момент оба показались Джорджио еще отвратительнее. Он обнял одной рукой мать, другой – Христину и прошел с ними в соседнюю комнату, ласково толкая их вперед. Сердце его наполнилось необычайной нежностью и состраданием. Услыша первые звуки ноктюрна Камиллы, он сказал Христине:

– Не пойти ли нам в сад?

Мать осталась с женихом и невестой. Джорджио с Христиной и ее молчаливым ребенком спустились вниз.

Некоторое время они молча ходили взад и вперед. Джорджио взял сестру под руку, как он обыкновенно делал с Ипполитой.

– В каком запустении наш бедный сад! – прошептала Христина, замедляя шаги. – Помнишь, как славно мы играли тут в детстве?

Она поглядела на своего мальчика.

– Поди побегай, Лукино, поиграй немного.

Но ребенок не отошел от нее и даже взял ее за руку. Она вздохнула, глядя на брата.

– Вот видишь, он всегда такой. Он не бегают, не играет, не смеется и вечно держится за меня. Все пугает его.

Джорджио не слышал ее слов, занятый мыслями о далекой подруге.

– Джорджио, – неожиданно спросила Христина, – почему ты так задумчив?

Сильный запах цветов волновал кровь Джорджио. Его страсть бурно закипала, стремление к Ипполите вытесняло в нем все другие чувства, и воспоминания о чувственных наслаждениях зажигали его кровь.

– Ты думаешь... о ней? – добавила Христина с некоторым колебанием.

– Ах, да, ты ведь знаешь! – ответил Джорджио, и краска залила его лицо под мягким взглядом сестры. Он вспомнил, что рассказывал ей об Ипполите в прошедшую осень в сентябре, когда отдыхал на берегу моря, в Торетте ди Сарса.

– Ты по-прежнему... любишь ее? – колеблясь, спросила Христина с улыбкой.

– По-прежнему.

Они молча дошли до апельсиновых и лимонных деревьев. Оба были взволнованы. Печаль Джорджио стала острее после этого признания. В груди же Христины пробудились смутные, подавленные желания прежних времен при мысли о незнакомой возлюбленной брата. Они поглядели друг на друга и улыбнулись, и эта улыбка скрасила их печаль.

Христина сделала несколько быстрых шагов в сторону апельсиновых деревьев и воскликнула:

– Боже мой, сколько цветов!

Она подняла руки и принялась рвать цветы, пригибая к себе ветви дерева. Цветы падали ей на плечи, на голову, на грудь. Вся земля под деревом была осыпана ими, точно благоухающим снегом. Овал лица Христины и ее длинная белая шея были очаровательны в этой позе. Напряжение залило ее лицо румянцем. Но внезапно ее руки опустились, мертвенная бледность покрыла ее лицо, и она зашаталась, точно от головокружения.

– Христина, что с тобой? Тебе нехорошо? – испуганно воскликнул Джорджио, поддерживая ее.

Но она не могла говорить; сильная тошнота сдавливала ей горло. Она показала знаками, что хочет отойти от дерева, и с помощью Джорджио сделала несколько неверных шагов в сторону. Лукино глядел на нее полными ужаса глазами. Она остановилась, глубоко вздохнула и, оправившись немного, сказала еще слабым голосом:

– Не пугайся, Джорджио... Это ничего... Я беременна. Сильный запах подействовал на меня. Теперь уже проходит, я чувствую себя хорошо.

– Хочешь пойти домой?

– Нет, останемся здесь. Сядем.

Они сели на каменную скамейку в галерее. Желая встряхнуть серьезного и молчаливого ребенка, Джорджио позвал его:

– Лукино!

Ребенок прижался своей тяжелой головой к коленям матери. Он был хрупок, как стебелек, и, казалось, с трудом держал голову. Под его нежной кожей виднелись голубые, тонкие,

как шелковые нити, вены. Волосы его были светлые, почти белые, а голубые глаза, обрамленные светлыми ресницами, были мягки и влажны, как у ягненка.

Мать погладила его по голове, сжимая губы, чтобы удержать рыдания, но две слезы все-таки выкатились из ее глаз и полились по щекам.

– О Христина!

Ее волнение усилилось при звуке ласкового тона брата, и слезы неудержимо полились из ее глаз.

– Знаешь, Джорджио, я никогда ничего не требовала и всегда со всем примирялась; я никогда не жаловалась и не протестовала... Ты ведь знаешь это, Джорджио. Но это выше моих сил. Если бы я имела хоть каплю утешения от моего ребенка!

Ее голос дрожал от слез.

– Погляди на него, Джорджио. Он не болтает, не смеется, не играет, никогда не веселится; он совершенно не похож на других детей. Я не могу понять, что с ним. Мне кажется, что он страшно любит и даже обожает меня. Он никогда не отходит от меня. Можно думать, что его жизнь зависит от моего дыхания. О, если бы я рассказала тебе, Джорджио, о длинных, бесконечно длинных днях, которые я провожу с ним!.. Я работаю у окна, поднимаю глаза и встречаю устремленный на меня взгляд... Он глядит и глядит на меня... Я не могу передать словами этой медленной пытки; мне кажется, что мое сердце медленно раздирается на куски.

Волнение мешало ей говорить. Она стерла слезы с лица.

– Если бы, по крайней мере, то существо, которое я ношу теперь в себе, явилось на свет, уже не говорю красивым, но хоть здоровым! О, если бы Господь Бог хоть один раз услышал мои молитвы!

Она замолчала и стала прислушиваться, точно хотела уловить биение новой жизни, которую она носила в себе. Джорджио взял ее за руку. Некоторое время брат и сестра молча сидели на каменной скамейке, подавленные гнетом существования.

Перед ними расстилался пустынный, заброшенный сад. Стройные кипарисы свято и неподвижно высились у стены, напоминая поставленные перед образами свечи. Там и сям на кустах осыпались розы под дуновением легкого ветерка, а из дома до них долетали редкие звуки рояля.

4

«Когда же? Когда же? И так, это неизбежно? Я должен буду непременно говорить с этим грубым человеком?» – Джорджио с почти безумным ужасом ожидал этого часа. Непобедимое отвращение охватывало все его существо при одной мысли, что он останется наедине с этим человеком.

Время шло, и с каждым днем он чувствовал сильнее всю тоску и унижение за свое преступное бездействие; он видел, что мать, сестра и все страждущие ожидали от него, старшего сына, энергичного поступка, протеста, защиты. И, правда, зачем его призвали сюда? Зачем он приехал? Он не мог уехать теперь, не исполнив своего долга. В крайнем случае он мог бы уехать, не попрощавшись, убежать тайком и написать потом письмо в оправдание своего поведения, выставив в нем какой-нибудь правдоподобный предлог... Этот исход пришел ему в голову в минуту отчаяния, и он стал обдумывать план в мельчайших подробностях, представляя себе его результаты. Но при виде страдальческого и расстроенного лица матери в нем проснулись невыносимые угрызения совести.

Исследуя мысленно свою слабость и эгоизм, он обращался к своему внутреннему миру и искал в нем с чисто детским усердием какую-нибудь маленькую часть, которую он мог бы возбудить и направить против большей части, чтобы рассеять ее, как непокорную толпу. Но такое искусственное возбуждение никогда не длилось долго и не помогало ему принять мужествен-

ное решение. Он начинал тогда спокойно рассматривать положение вещей, но его собственные рассуждения вводили его в заблуждение. «Чем я могу быть полезным здесь? – думал он. – Что здесь изменится к лучшему благодаря мне? Принесет ли действительную пользу это тягостное усилие, которое мать и остальные требуют от меня? И в чем же может заключаться эта польза?» Не находя в себе необходимой энергии для совершения требуемого поступка и не будучи в состоянии добиться в себе подъема духа, он придерживался обратного метода – старался доказать всю бесполезность этого усилия. «К чему приведет этот разговор? Наверное, ни к чему. Смотря по настроению или по обстоятельствам, отец либо вспылит, либо станет логически доказывать свою правоту. В первом случае я не могу ничего ответить на его крики и брань. Во втором случае отцу легко будет доказать мне отсутствие своей вины или неизбежность своих поступков, и опять-таки не смогу ничего ответить ему. Прошлого не вернешь. Порок, глубоко вкоренившийся в существе человека, невозможно вытравить; особенно в возрасте отца привычек уже не меняют. Он уже давно завел себе эту семью. Разве мои слова могут побудить его отказаться от нее? Разве я могу убедить его порвать с ней? Я видел эту женщину вчера. Достаточно увидеть ее один раз, чтобы понять, как глубоко она вонзила когти в тело этого человека. Она будет до самой смерти держать его в руках. Теперь это непоправимо. Кроме того, у них есть дети; не надо забывать их права. Одним словом, разве отец с матерью могут помирились после всего случившегося? Никогда. Значит, все мои попытки будут напрасны. Что же остается после этого? Материальная сторона, вопрос о растрате имущества? Но чем же я могу помочь в этом, раз я живу далеко от дома? Тут необходим постоянный надзор. Только Диего мог бы исполнить это. Я поговорю с ним и постараюсь прийти к какому-нибудь соглашению... В сущности, весь вопрос сводится теперь к приданому Камиллы. Альберто очень беспокоится об этом; он более других заинтересован в моем разговоре с отцом. Может быть, мне удастся сделать для него кое-что». Он собирался подарить сестре часть ее приданого; он наследовал все состояние от дяди Димитрия, был богат и свободно распоряжался своим имуществом. Наменение совершить этот великодушный поступок подняло его в собственном сознании. Жертвуя своими деньгами, он считал себя свободным от всяких обязанностей и неприятных действий.

Он немного успокоился и с облегченным сердцем пошел к матери. Он знал, кроме того, что отец с утра уехал к себе обратно в деревню, где он проводил большую часть времени, чтобы свободнее предаваться распутству. Мысль, что одно место будет пусто за ужином, доставляла Джорджио некоторое облегчение.

– Ах, Джорджио, ты пришел как раз вовремя! – воскликнула мать при виде его.

Ее сердитый голос так сильно поразил его, что он остановился и с удивлением поглядел на мать; лицо ее было совершенно искажено гневом. Не понимая, в чем дело, он взглянул сперва на Диего, потом на Камиллу, которая молча и с враждебным видом стояла тут же рядом.

– Что случилось? – пробормотал он, снова переводя глаза на брата; первый раз он замечал на его лице такое определенное выражение злобы.

– Пропал ящик с серебром, – сказал Диего, не поднимая глаз под нахмуренными бровями и глотая слова, – и они уверяют, что я виноват в пропаже.

Поток резких слов вырвался с незнаваемых уст несчастной женщины.

– Да, ты, ты, по соглашению с отцом. Ты действовал заодно с отцом... Боже, какая низость! Только этого не доставало! Это превосходит все границы! Тот, которого я выкормила своей грудью, идет теперь против меня. Но ты один похож на него, ты, ты один! В отношении других детей Господь Бог снисловивился надо мной, да будет Он благословен за Его милость! Ты один похож на него, ты один...

Она повернулась к Джорджио, который стоял безмолвно и неподвижно, точно парализованный. Ее подбородок сильно трясся. Она была в таком возбужденном состоянии, что, казалось, сейчас грохнется на пол.

– Теперь ты видишь, что здесь за жизнь? Ты видишь? Каждый день какое-нибудь новое оскорбление! Каждый день только борешься и защищаешь этот бедный дом от разгрома без малейшей передышки. Будь уверен, что твой отец довел бы нас до полной нищеты и отнял бы у нас даже хлеб, если бы мог. И до этого дойдет, мы этим и кончим. Увидишь, увидишь...

Она продолжала говорить, задыхаясь, точно сдерживала ежеминутно подступавшие к горлу рыдания; временами голос ее делался хриплым, и такая дикая ненависть звучала в нем, что было непонятно, как она уживалась в таком нежном создании. И старые обвинения снова полились из ее уст. Этот человек потерял всякий стыд, он не останавливался ни перед кем и не перед чем, чтобы иметь деньги. Он совершенно потерял рассудок и дошел чуть не до буйного помешательства. Он разорил свое имение, срубил лес, продал скот без всякого разбора первому встречному и при первом удобном случае. Теперь он начинал громить дом, где родились его дети. Уже давно он собирался наложить руки на серебро – старинное, фамильное серебро, хранившееся как остатки величия дома Ауриспа; до последнего дня оно сохранялось в целостности. Но никакие замки не помогли. Диего вошел в соглашение с отцом, и, обманув самую тщательную бдительность, они украли серебро и бросили его Бог знает в чьи руки!

– И тебе не стыдно? – продолжала она, обращаясь к Диего, который стоял, с трудом сдерживая злобу. – Тебе не стыдно идти с отцом против меня? Я ведь никогда не отказывала тебе ни в чем, я ведь всегда исполняла твои желания! И разве ты не знаешь, куда идут эти деньги? И тебе не стыдно? Что же ты молчишь? Отвечай же. Погляди на брата. Скажи мне, где ящик, я желаю знать это. Слышишь?

– Я уже сказал, что не знаю, где он. Я не видел и не брал его, – грубо закричал Диего, не будучи более в состоянии сдерживаться и сердито трясая головой; темная краска залила его лицо, увеличивая в нем сходство с отсутствующим.

Мать побледнела как полотно и перевела взор на Джорджио; казалось, что этим взором она передавала ему свою бледность.

– Диего! – сказал старший сын, заметно дрожа всем телом. – Уходи отсюда!

– Я уйду, когда захочу, – возразил Диего, заносчиво пожимая плечами, но не глядя в глаза брату.

Внезапный гнев запылал в сердце Джорджио, но у слабых и криводушных людей, как он, подобный гнев не выливался никогда в акт насилия, а только развертывал перед его возмущенной душой картины преступления. Отвратительная братская ненависть, внедрившаяся в человеческой натуре с начала мира и вырывающаяся при каждом раздоре с большей силой, чем всякая другая ненависть; эта скрытая, непонятная вражда между кровными родственниками, даже связанными обычной любовью в мирной обстановке родного дома, и чувство ужаса, сопровождающее преступную мысль или поступок и смягчающее суровый закон, вписанный вековой наследственностью в христианском сознании, – все эти чувства закружились в нем и на секунду вытеснили другие чувства, побуждая его ударить Диего. Самая внешность Диего – его полнокровное и коренастое тело, красное лицо и бычья шея, – сознание его физического превосходства и оскорбленный авторитет старшего брата – все это разжигало гнев Джорджио. Ему хотелось иметь в руках готовое средство, чтобы без сопротивления и борьбы подчинить себе и унижить это животное. Он инстинктивно взглянул на его широкие, сильные руки, покрытые рыжими волосами; еще прежде за обедом они вызвали в нем сильное отвращение, служа противной жадности Диего.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.